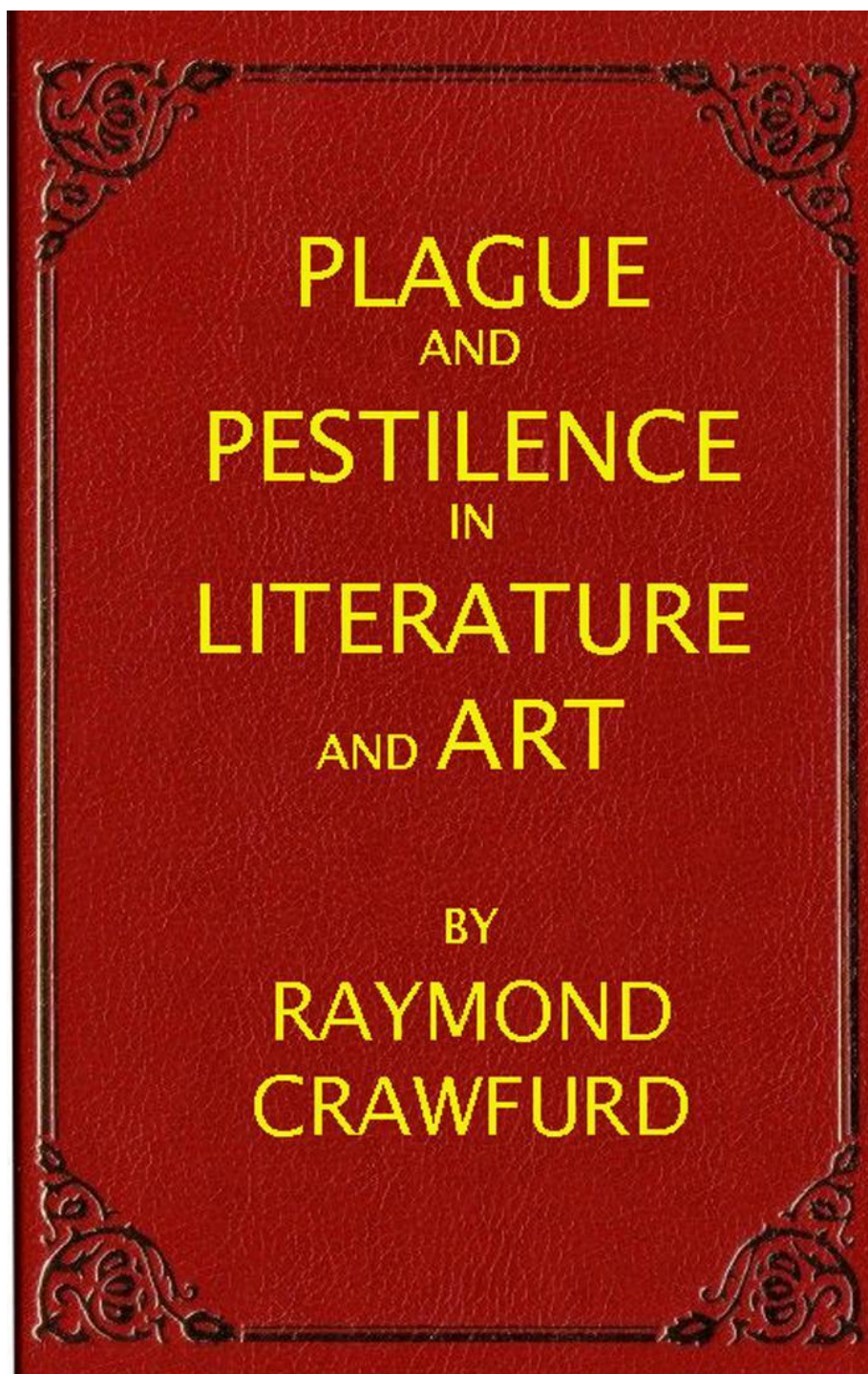


Чума и мор в литературе и искусстве

Сэр Раймонд Генри Пейн Кроуфурд



The Project Gutenberg eBook of Чума и мор в литературе и искусстве.

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или повторно использовать на условиях Лицензии проекта "Гутенберг", прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: Чума и мор в литературе и искусстве

Автор: Сэр Рэймонд Генри Пейн Кроуфурд

Дата выхода: 13 февраля 2021 [eBook #64547]

Последнее обновление: 18 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Спасибо Тургуту Динчеру, Полу Маршаллу и всей команде корректоров DP.

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK ЧУМА И МОР В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ ***

ЧУМА И МОР В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЛОНДОН ЭДИНБУРГ ГЛАЗГО НЬЮ-ЙОРК

ТОРОНТО МЕЛЬБУРН БОМБЕЙ

ХАМФРИ МИЛФОРД М.А.

ИЗДАТЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА

FRONTISPIECE



S. СЕБАСТЬЯН. СОДОМА

ЧУМА И МОР В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

РЭЙМОНД КРОУФОРД

М.А., М.Д. ОКСОН, Ф.Р.К.П.

СТИПЕНДИАТ КОРОЛЕВСКОГО КОЛЛЕДЖА, ЛОНДОН

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот том представляет собой в основном лекции Фитцпатрика, которые я имел честь прочитать в Королевском колледже врачей в 1912 году. Первоначально я намеревался не более чем собрать воедино в кратком изложении различные памятники и напоминания о моровой язве, с которыми я сталкивался в своих странствиях по стране и за рубежом и в своих случайных заходах в общую литературу. Неизбежно желание понять вытеснило желание просто записать, а желание объяснить вытеснило стремление понять. По мере возможности я обращал внимание только на литературные и художественные ассоциации моровой язвы, но они неизбежно пересекались с границами истории и медицинской науки. Последняя территория была затронута лишь настолько, насколько это было необходимо для правильной ориентации исследования. Я счел разумным опустить занавес в конце восемнадцатого века, предоставив читателям самим решать, какие остатки менталитета далеких веков сохранились в нынешнем двадцатом. Небольшое размышление об этом послужит полезным уроком для всех нас.

Январь 1914 г.

СПИСОК ПЛАСТИНОК

S. Себастьян. Содома

Фронтиспис

Пластина I:

Аполлон с луком и мышью. Бронзовая монета
из

Александрия Троада. ок. 250 г. до н. э. × 2.

Асклепий со змеей. Бронзовая монета
Пергама.

Время правления Антонина Пия. × 2.

Змея и галера. Медальон. Время правления
Антонина Пия.

Пест-талер, отчеканен в Виттенберге, 1528 год.

Христос на кресте.

Медный змей

Лицезреть стр. 4

Плита II. Ашдодская чума. Автор Н. Пуссен

Лицевая сторона стр. 18

Пластина III. Чума Давида. П. Миньяр

К лицу стр. 19

Пластина IV. Григорий и ангел

К лицу стр. 93

Пластина V.	Фреска в Сан-Пьетро-ин-Винколи, Рим	<i>К лицу стр.</i>	95
Плита VI.	Болезнь в Риме. Автор Делоне	<i>К лицу стр.</i>	96
Пластина VII.	Себастьян как защитник от моровой язвы. Автор Беноццо Гоццоли	<i>К лицу стр.</i>	99
Пластина VIII.	Чумовое знамя Себастьяна Содомы (реверс). СС. Рох и Сигизмунд, и Братья из Общества святого Себастьяна	<i>Лицевая сторона стр.</i>	100
Пластина IX.	СС. Марк, Себастьян, Рох, Косма и Дамиан. Работа Тициана	<i>К лицу стр.</i>	102
Пластина X.	S. Roch. Амброджио Боргоньоне	<i>К лицу стр.</i>	108
Пластина XI.	S. Рох, за которым ухаживает Ангел. Автор Никлаус Мануэль. Заступническая картина чумы	<i>К лицу стр.</i>	109
Пластина XII.	Мадонна с младенцем, Святая Анна и святые. Автор Дж. Франческо Карото	<i>К лицу стр.</i>	110
Тарелка XIII.	Пляска смерти в Базеле	<i>Лицевая сторона стр.</i>	135
Плита XIV.	Мадонна делла Мизерикордия. Автор Бонфигли	<i>Лицевая сторона стр.</i>	138
Плита XV.	Мадонна дель Соккорсо. Автор Синибальдо Иби	<i>Лицевая сторона стр.</i>	138
Тарелка XVI.	Чумное знамя. Христос и святые. Автор Бонфигли	<i>К лицу стр.</i>	139
Пластина XVII.	Pest-Blätter: 1. Вседержитель с СС. Себастьяном и Рохом. 2. Всемогуший, Мадонна и сторонники. Богородица с младенцем, Святая Анна и помощники	<i>Лицевая сторона стр.</i>	142
Плита XVIII.	Дева Импрунета	<i>Лицевая сторона с.</i>	146
Плита XIX.	S. Текла освобождает Эсте от чумы. Джованни Баттиста Тьеполо	<i>К лицу стр.</i>	147
Плита XX.	Чума. Рисунок Рафаэля	<i>Лицевая сторона стр.</i>	148
Плита XXI.	Шествие к церкви Санта Мария делла Салюте в Венеции. С гравюры XVII века	<i>К лицу стр.</i>	172
Плита XXII.	Карло Борromeo. По рисунку Аннибале Карраччи	<i>Лицевая сторона стр.</i>	173
Плита XXIII.	Борromeo во главе чумной процессии. Пьетро да Кортоня	<i>К лицу стр.</i>	174

Плита XXIV.	Борромео, ходатайствующий за больных чумой. Автор П. Пюже. Мраморный барельеф	На лицевой стороне стр.	175
Плита XXV.	Пытки и казнь аноинцев	Лицевая сторона стр.	179
Плита XXVI.	Чума в Неаполе, 1656 год. Микко Спадара	Лицевая сторона стр.	184
Пластина XXVII.	Сцены чумы в Риме, 1656 год. Со старой гравюры	К лицу стр.	186
Пластина XXVIII:	1. Платье марсельского врача, 1720 год. 2. Немецкая карикатура на то же самое	К лицу стр.	200
Тарелка XXIX.	Марсельская чума. Автор Франсуа Жерар	Лицевая сторона стр.	206
Плита XXX.	La Peste dans la Ville de Marseille en 1720. Ж. Ф. де Труа	Лицевая сторона стр.	207
Plate XXXI.	Чума в Яффе. Барон Грос	Лицевая сторона стр.	208

ГЛАВА I

Разрозненные записи литературы представляют собой ценный, но игнорируемый вклад в изучение эпидемического мора. Они показывают нам, что мор - это дело ума, так же как медицинская литература показывает его как дело тела. Они также преподают нам унижительный урок, что, несмотря на прогресс цивилизации, несмотря на видимый рост человечества, несмотря на развитие и распространение научных знаний, человеческая природа снова и снова возвращается к первобытным инстинктам дикости перед лицом сокрушительного бедствия эпидемического мора. Поверхностному изучающему психологию человеку трудно поверить, что в 1630 году в Милане, в 1656 году в Неаполе, в 1771 году в Москве жажда крови обезумевшего населения искала и нашла успокоительное в оргии человеческих жертвоприношений. Но так оно и было. И в этом инстинкте человеческого разума кроется ключ к разгадке многого в записях литературы и искусства, которые в остальном совершенно бессмысленны. Перед нами мрачная глава истории, но, возможно, мы найдем здесь и там духовный Вефиль, воздвигнутый из твердых камней, на которые страдающее человечество положило свою усталую голову.

Разум первобытного человека не представляет себе власти над природой выше, чем его собственная: так же обусловлено его отношение к болезни. Он видит в болезни лишь некую злую магию, наложенную человеком на человека. Австралийский туземец верит, что нападающий передает болезнь, направляя на жертву какой-то предмет, а та, в свою очередь, обращается к магии, чтобы избавиться от недуга. На Новых Гебридах до сих пор сохраняется

представление о том, что агрессор стреляет жертву из лука и стрел каким-то зачарованным материалом. Медицина еще не возникла из магии. Человеческий разум, переходя на более высокие ступени просвещения, не полностью отказывается от своих примитивных верований: этому есть многочисленные свидетельства в ранних записях о моровой язве. В язвах фараона отмечается важность ручных действий, протягивания жезла, побивания пылью, посыпания пеплом. И снова, когда филистимляне из Ашдода просят избавить их от чумы, прорицатели велют им сделать изображения своих эмеродов, или опухолей. Это грубая магия - магия имитации, суть которой в том, что любой эффект может быть произведен путем подражания ему. В таком духе дикарь разбрызгивает воду, когда хочет, чтобы пошел дождь.

По мере того как на человека обрушивается его собственное бессилие, он начинает искать причину и лекарство своей болезни за пределами себя; но человеческая деятельность по-прежнему ограничивает весь его горизонт. Он обращается к тем, кто больше всего похож на него самого по природе, - к нетленным духам его собственных умерших. Лишенные телесной формы, их призраки нуждаются в подношениях еды и питья, а также в смиренной молитве. Пренебрежение этим вознаграждается насыланием болезней и смерти. Этот культ преобладал в религии молодого Рима и в греческом поклонении существам подземного мира (χθόνιοι), а сегодня его можно встретить в Океании. Такой обожествленный дух мертвых мог оказывать свое влияние в снах на тех, кто спал над его обителью. Таков зародыш ритуала инкубации полубога Асклепия, который открывал средства от болезней и к которому обращались за избавлением от моровой язвы. Страбон говорит, что Трикка в Фессалии была древнейшим святилищем Асклепия, который был обожествленным предком флегийцев и минийцев, правящей семьи Трикки.

С возникновением идеи отдельной души появилась вера в принятие ею после смерти животных форм, и главная из них - таинственный обитающий на земле змей, бросающий мор со своего колючего языка. Ассоциация змеи с болезнями и мором практически всемирна. Веды изобилуют ею: классическая и христианская литература и искусство полны ею. Мы находим ее у Овидия,[1] у Григория Турского,[2] у Павла Диакона,[3] и у многих других писателей. В Книге Чисел (xxi. 6 и далее) тоже сохранилось это образное представление о моровой язве: "И послал Господь огненных змей в народ, и они укусили народ, и умерло много народа Израильского. И пришел народ к Моисею и сказал: мы согрешили, ибо говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтобы Он отнял от нас змей. И помолился Моисей за народ. И сказал Господь Моисею: сделай себе огненного змея и поставь его на шесте; и будет так, что всякий укушенный, когда взглянет на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и поставил его на шесте, и было так, что если змея укусила кого, то, взглянув на медного змея, он оставался жив". Подражательная магия - исцеление подобным подобным - по-прежнему является оружием, с помощью которого Моисей борется с мором.

В Фернандо-По,[4] , когда вспыхивает эпидемия среди детей, принято вывешивать змеиную кожу на шесте посреди общественной площади, и матери приносят своих младенцев, чтобы прикоснуться к ней. На Мадагаскаре Сибри[5] обнаружил, что Рамахавали, бог врачевания, также был покровителем змей и мог использовать их в качестве агентов своего гнева. Во многих частях Индии также принято делать змею из глины или металла и приносить ей жертвы от имени страдальца.[6] Аполлоний Тианский, как говорят, избавил Антиохию от скорпионов, сделав бронзовое изображение скорпиона и закопав его под небольшим столбом в центре города. Таким образом, змея обладает силой не только возбуждать мор, но и предотвращать его.

От этих духов подземного мира, человеческих или животных, можно перейти к концепции сверхъестественных существ над землей, но все еще в человеческом облике и с человеческими атрибутами. Таковы Аполлон, Асклепий и Рудра. Следы эволюции этих божеств обычно можно найти в атрибутах, которыми они наделены в более поздней литературе и искусстве. Обычный символ Асклепия - змея, обвившаяся вокруг посоха. Священные змеи хранились в его храмах,^[7] и просители исцеления кормили их лепешками.^[8] В святилищах Асклепия часто происходили исцеления, когда змеи вырывались и зализывали раны пациентов. В конце концов бог-человек вытесняет змею, но консервативные религиозные настроения сохраняют старый объект поклонения как символ и помощник нового. В греческой легенде именно у змеи учится искусству врачевания Асклепий: правда, Гомер делает Хирона его учителем. Сохранилось множество других легенд о змеином происхождении медицины. Провидец Полиинд, как говорят, узнал о травах, способных вернуть человека к жизни, наблюдая за тем, как змеи воскрешают своих мертвецов. В Кашемире^[9] потомки племен нага (змеиных) приписывают свое особое мастерство в лечении знаниям, переданным их предкам змеями: а кельты приобрели свои медицинские знания, выпив змеиный отвар. Как и в случае с Асклепием, так и в случае с Аполлоном. Аполлон действительно убивает человекоубийцу Пифона и сам становится распространителем моровой язвы. Он не только поражает болезнью виновника зла, но и отгоняет ее от праведников. Его стрелы рассеивают чуму, но он также лучший из врачей. Таков Аполлон из *"Илиады"*.



Аполлон с луком и мышью Асклепий со змеей

Змея и галера

Христос на кресте

Медный змей

У Гомера^[10] престарелый жрец Хриз, взывая к Аполлону, чтобы отомстить за изнасилование своей дочери, обращается к нему как к богу серебряного лука (Ἀργυρότοξος). Аполлон услышал его молитву, и

Спустился он с высоты Олимпа, сердце его пылало гневом: за плечами висел его лук и обширный колчан: за спиной его гремели роковые стрелы, когда он двигался: Как ночная туча, он прошел: и издали, нагнувшись к кораблям, пустил болт: И яростно и смертоносно зазвенел серебряный лук: Сначала на мулов и собак, на человека в последнюю очередь, Был обрушен стрелами ураган; и по лагерю Постоянно и много пылали погребальные костры. Девять дней небесный лучник на войска обрушивал свои грозные валы".[11]

Гомеровское изображение Аполлона-лучника послужило источником вдохновения для одного из шедевров греко-римской скульптуры. Аполлон-мститель насылает мор в наказание за грех. Гомер ставит ее как свидетельство божественного неудовольствия на передний план своего эпоса, как и Софокл после него в величайшей из своих трагедий. Аполлон изображен как бог, распространяющий чуму стрелами, выпущенными из его лука. Он налетает стремительно, как внезапно наступающая ночь на земли Средиземноморья, как "язва, которая ходит во тьме" и "стрела, которая летит днем". Чума сначала носит эпизоотический характер, поражая мулов и собак, а затем становится эпидемией среди греческого войска. Созывается совет, и Ахилл советует позвать какого-нибудь пророка или жреца, чтобы тот сказал, какие умиловительные жертвы были пренебрежены:

Если за пренебрежение гекатомбами или молитвами он обвиняет нас, или если жир ягнят и козлят может успокоить его гнев и унять чуму.

Провидец Калхас показывает им, что она насыляется скорее в наказание за вопиющий грех - грех Агамемнона, унесшего Хрисею. Не за пренебрежение почетными жертвоприношениями и не за пренебрежение молитвами обрушился на них мор. Хрисея должна быть отправлена обратно, а Аполлон должен быть искуплен жертвоприношениями, после того как все воинство будет очищено в дважды очищающей морской воде. Хрисея отправили назад, и

Далее по лагерю провозглашался призыв Очистить воинство; и в море, Повинуясь слову, они очистились: Затем Аполлону торжественные обряды совершили С безупречными гекатомбами быков и козлов, На краю водных просторов: И в дыму аромат к небесам возносился.

Так приносят жертву во искупление греха, с омовением, подобающим торжественной люстрации народа. Затем, когда чума утихнет, а до этого момента еще далеко, они могут присоединиться к радостному евхаристическому пиршеству с мясными жертвами и возлияниями красного вина; все собрание принимает его вместе с богом, увенчивая чаши цветами и воспевая хвалебные гимны.

Аполлон "*Илиады*", подобно древнему змею, не только насылает, но и предотвращает мор.

Гомеровская чума знаменует собой этап, на котором молитва и жертвоприношение вытеснили магию в борьбе с мором. С этого времени изучение моровой язвы неразрывно связано с эволюцией религии. Молитва и жертвоприношение неизбежно вытекают из концепции величественного человека-бога. К нему нужно обращаться на коленях с просьбой о помощи: он по праву заслуживает молитвенного поклонения. Его поклонник подходит к нему, как к земному владыке: он очищает себя, он просит милости в смиренной позе, он отдает ему все свое лучшее. Отсюда возникают очищение, молитва и жертвоприношение. Сначала, как и у Гомера, очищается тело: приношение чистого сердца и правого духа происходит позже. Пока бог задуман в человеческом облике, пища и питье будут встречаться в качестве жертвенных приношений. Позже, когда бог, как в гомеровских стихах, обитает на небесах, сладкий аромат жертвоприношения или ароматный дым благовоний, поднимающийся к небу, найдут особое расположение в его глазах. Первобытное

жертвоприношение по сути своей социально: это пир, на котором поклоняющиеся вступают в общение с богом: оно является истинным родителем *лектистерниума*. Ранняя религия не сомневалась в доброй воле бога, если его должным образом попросить: отсюда радость танцев и песен, сопровождающих евхаристический пир, - поклоняющиеся были уверены, что жертва вернула им благосклонность бога. Суровому богу, Богу Ветхого Завета, медлящему с прощением, нет места в примитивном богословии. Гимны, подобные тем, что греческие воины пели в ликующий унисон Аполлону, - это первые тусклые попытки языка проникнуть в область литературы. Подобные песнопения пелись в святилищах Асклепия после успешных исцелений.

В ранних индийских мифах Рудра - бог, выпускающий стрелы моровой язвы. Прочтите эту молитву к Рудре из *Атхарваведы*^[12]: подобных ей много в более древней *Rig-Веде*, которая достигла близкой к нынешней формы уже в 1500 году до н.э.

Молитва Бхаве^[13] и *Саве*^[14] о защите от опасностей.

1. О Бхава и Сава, будьте милосердны, не нападайте на нас: вы, владыки существ, владыки скота, благоговейте перед вами обоими! Не выпускайте стрелу даже после того, как она была положена (на лук) и пущена! Не уничтожайте наших двуногих и четвероногих.

7. Да не вступим мы в конфликт с Рудрой, лучником с темным гребнем, тысячеглазым могучим, убийцей Ардхаки!

12. Ты, о гребенчатый бог, держишь в руке лук, поражающий тысячи, желтый золотой лук, убивающий сотни: Стрела Рудры, ракета богов, летит за границу: почтение ей, в какую бы сторону отсюда (она ни летела).

19. Не бросай в нас булаву твою, божественный болт твой: не гневайся на нас, о владыка скота! Взмахни над кем-нибудь другим, кроме нас, небесной ветвью!

26. Не заражай нас, о Рудра, ни лихорадкой, ни ядом, ни небесным огнем: пусть эта молния нисходит не на нас, а в другое место!

Другие боги, кроме Рудры, могут остановить мор. Вайю [ветер] согнет острия луков врагов, Индра ломает им руки, и они не смогут наложить стрелы: Адитья [солнце] отправит их снаряды в путь, а Крандрамас [луна] преградит путь врагу, который еще не начал".^[15] Подобно Мадонне христианской церкви Адитья отражает стрелы моровой язвы. Арийский воин, безусловно, и первобытный грек, вероятно, использовали отравленные стрелы.

Язык 91-го псалма обнаруживает ту же образность, что и гомеровский эпос и ведические гимны.

"Скажу Господу: Ты надежда моя и твердыня моя; Бог мой, на Него я уповаю. Ибо Он избавит тебя от ловушки охотника и от язвы шумной. Он защитит тебя под крыльями Своими, и ты будешь безопасен под перьями Его; верность и истина Его будут щитом твоим и опорой твоею. Не бойся никакого ужаса ночью, ни стрелы, летящей днем: ни язвы, которая ходит во

тьме, ни болезни, которая губит в полдень. Тысяча падет подле тебя, и десять тысяч по правую руку твою, но не приблизится к тебе".

Стрелы моровой язвы глубоко вонзились в ткань многих языков. Практически все древнееврейские слова, обозначающие чуму (*Маггефа, Негеф, Нага, Макка*), означают удар. Наше английское "чума" происходит через латинское *plaga* от греческого πλήγή, удар: так же и немецкое *plage*. Французское *fléau* - flail или *plague* - воплощает ту же идею удара, и происходит от латинского *flagellum* и греческого θλίβω. Сегодня даже врачи вынуждены называть яды моровой язвы "токсинами", как будто это яды стрел, выпущенных из лука (τόξον от τυγχάνω = я бью). Аравийцы говорят о том, что их "ужадили" или "укололи" чумой, вспоминая, соответственно, о змеях и стрелах моровой язвы.

Выше уже упоминались чумы фараона: остается только сказать, что в настоящее время существует общее мнение, что эти десять чум представляют собой всего лишь сезонные колебания, которым особенно подвержен Египет, превознесенные в еврейской устной традиции. Возможно, последняя чума, смерть первенцев в апреле исхода (около 1220 г. до н. э.), была настоящим *pestis puerorum*, обрушившимся с особой жестокостью на тех, кто не имел иммунитета, обеспеченного предыдущей эпидемией. Именно вторжение ливийцев и народов греческих морей в Египет, по крайней мере, в той же степени, что и библейские чумы, позволило израильским крепостным совершить побег.

Во время скитаний по пустыне Корех, Дафан и Авирам восстали против власти Моисея и Аарона, и Бог заставил их быть поглощенными землетрясением вместе со всеми их домохозяевами. Некоторые из сынов Израилевых роптали на свою судьбу. На тех, кто так поступил, обрушилась чума, унесшая 14 700 человек. Чума была остановлена тем, что Аарон вознес на жертвенник фимиам в качестве искупления - жертва все еще жертва, но жертва только сладкого вкуса для Бога, обитающего на небесах. Сопоставление, если не сказать ассоциация, землетрясения и моровой язвы в этом повествовании заслуживает внимания, учитывая широко распространенную веру в их причинно-следственную связь в более поздние времена.

На протяжении всего Ветхого Завета чума, как и здесь, рассматривается как прямое следствие Божьего гнева. В Новом Завете она фигурирует лишь в малой степени, и то скорее как исправительное, чем карательное средство. Бог Ветхого Завета - это Бог мести: только в поздних пророках мы находим хотя бы предвестие Бога любви и прощения, Бога Нового Завета. Изображая мор, искусство сохранило это представление о Боге как о суровом карателе за проступки, но в личности Христа, приближенной через посредничество Мадонны и святых, признало новозаветное представление о Боге.

Вход в Ханаан стал для израильтян началом долгого периода войн с окружающими племенами. Наконец, в битве при Эбен-Эзере филистимляне разбили израильскую армию, захватили ковчег завета и унесли его в Ашдод, где поместили в храм своего национального бога Дагона. В две ночи подряд изображение Дагона было таинственным образом сброшено со своего пьедестала. Рука Господа была тяжела на ашдодцев, и Он истребил их, и порастил их эмеродом, Ашдод и берега его". Жители Ашдода поспешили отослать ковчег в Гат, другой филистимский город, но и здесь Бог "порастил жителей города, малых и великих, и были у них эмероды в тайниках их". Из Гата он был послан в Экрон с тем же результатом: "И было там смертельное разрушение по всему городу; рука Божия была очень тяжела там. И те, которые не умерли, были поражены эмеродами; и вопль города вознесся к небу". После семи месяцев моровой язвы филистимляне призвали жрецов и прорицателей, чтобы узнать, каким путем им следует отправить ковчег обратно. Те сказали им, что, если они желают избавления от

чумы, ковчег ни в коем случае не должен быть отправлен пустым, но с жертвой за нарушение: пятью золотыми эмеродами и пятью золотыми мышами, "изображениями ваших эмеродов и изображениями ваших мышей, которые опустошают землю". Ковчег должен был быть отправлен в новой повозке, запряженной двумя дойными коровами, а их телята оставались дома. Если кони пойдут прямым путем вдоль берега в Бет-Шемеш, то они узнают, что это Бог поразил их, а если нет, то мы узнаем, что не Его рука поразила нас: это случай, который случился с нами. И сделали люди так, и взяли двух дойных коров, и привязали их к повозке, и закрыли их телят дома: И положили ковчег Господень на повозку, и ларец с золотыми мышами и изображениями своих эмеродов. И пошли кони прямым путем к дороге в Виф-Шемеш, и шли по дороге, повизгивая на ходу, и не сворачивали ни вправо, ни влево; и пошли за ними владыки Филистимские до границы Виф-Шемеша. А жители Беф-Шемеша жали урожай пшеницы в долине; и подняли глаза свои, и увидели ковчег, и возрадовались, увидев его. И приехала повозка на поле Иисуса Навина, Вифлееманина, и стала там, где был большой камень; и наколоди дров на повозку, и принесли коней во всесожжение Господу. И сняли левиты ковчег Господень и ларец, который был при нем, в котором были золотые украшения, и положили их на большой камень; и принесли жители Вифлеема всесожжения и жертвы в тот же день Господу..., камень этот остается до сего дня на поле Иисуса Навина, Вифлеема". Пятьдесят тысяч семьдесят человек из жителей Вифлеема были поражены чумой "за то, что смотрели на ковчег Господень".

В основных чертах повествование [об ашдодской чуме](#) является простым повторением гомеровской чумы. Явная причина - Божье недовольство, но когда оно обрушивается на израильтян, избранный Богом народ, так же как и на филистимлян, это вызывает недоумение, поскольку знания о заразности или заразности еще не появились. Но объяснение готово: израильтяне *тоже* оскорбили Бога, заглянув в ковчег. Жертва за грех должна быть изображением болезни в золоте, подобно вотивным жертвоприношениям больных частей тела в святилищах Асклепия и изображениям мышей, которые и тогда, и после ассоциировались с мором - имитационная магия в ее простейшей форме. Жертвенный камень оставлен в качестве памятного алтаря на все времена. Религия теперь, как оказалось, усиливает магию. Филистимские прорицатели действительно высказывают мысль о том, что чума, возможно, была просто "случайностью, которая произошла с нами", и таким образом слабо предвещают веру в естественную причину эпидемических заболеваний.

Достаточно ли у нас данных, чтобы установить личность этой заразной язвы? Она вспыхнула на морском побережье среди одной расы морских торговцев и распространилась с побережья на другие внутренние города. Она продолжалась более семи месяцев. Она принимала две формы: тяжелую, с ранней смертью, и менее смертельную, при которой в секретных частях развивались припухлости (так называемые эмероды), под общим термином обычно подразумевалась вся область, прилегающая к гениталиям, и, соответственно, пах. Исходя только из этих данных, трудно избежать вывода, что это была настоящая восточная чума с долей бубонной болезни, которая на протяжении всей своей истории обнимала этот уголок Леванта.

Вотивные подношения для исцеления от болезней обычно изображали больную часть, а не саму болезнь, которая так часто не поддается пластическому представлению. Но в случае с простой припухлостью вполне естественно, что сама болезнь должна быть смоделирована.

Заманчиво с уверенностью утверждать прямую причинно-следственную связь между болезненными опухольями и мышами, ведь до недавнего времени крысы и мыши плохо отличались друг от друга. Дело осложняется еще и тем, что существуют значительные сомнения в подлинности, по крайней мере, части повествования. Составление Книги

Самуила длилось около семи веков, с 900 по 200 год до н. э., и считается, что история с мышью является поздней интерполяцией, дату которой установить невозможно. Но в тексте, как он есть, мыши обозначены как "мыши, опустошающие землю", а античная литература изобилует записями об ужасающем опустошении урожая полевыми мышами. Об этом свидетельствуют Аэлиан,^[16] Аристотель,^[17] Страбон, ^[18] Теофраст, Плиний и другие. Лёффлер^[19] приводит рассказ о фессалийском урожае кукурузы, уничтоженном ордой полевых мышей, причем поле было полностью опустошено за одну ночь. Мыши, по сути, были одной из главных причин голода-чумы^[20] истории. Если рассматривать это явление в таком свете, то оно помогает нам понять другую библейскую язву, которая обрушилась на армию Сеннахериба в 701 году до н. э. в Пелусии. Этот поход Сеннахериба был предпринят для подавления всеобщего восстания западных государств против ассирийского господства и выплаты дани ассирийскому царю. Восстание разжигалось, по-видимому, Меродах-Баладаном, которого Саргон сверг с вавилонского престола и который теперь втянул в него Езекию. Он отправил к Езекии посольство с подарками, чтобы поздравить его с выздоровлением от тяжелой болезни, которую в библейском повествовании называют "нарывом". Возможно, речь идет о настоящей гнойной чуме, но формы нарыва (например, багдадский нарыв), совершенно отличные от чумы, были привычными явлениями в некоторых регионах Востока. Сеннахериб сначала сокрушил Меродах-Баладана, а затем выступил против Езекии, который сразу же призвал на помощь Тирхаку, эфиопского наместника Египта. В битве при Алтаку Сеннахериб разбил Тирхаку и запер Езекию в Иерусалиме, который он начал осаждать. Тем временем Тирхака собрал свою армию и снова двинулся на помощь Езекии, так что Сеннахериб был вынужден двинуться против него на юг. В Пелусии, на границе Египта, войско Сеннахериба было внезапно уничтожено мором, что вынудило его сразу же отвести остатки в Ассирию. В ту ночь вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийцев сто четыреста пять тысяч человек; и когда они встали рано утром, то увидели, что все они мертвые".^[21] Исайя подробно подтверждает рассказ Книги Царств, а халдейский летописец Берос во фрагменте, сохраненном Иосифом, также утверждает, что Сеннахериб был изгнан мором. Призматические надписи Сеннахериба характерно молчат на эту тему: они рассказывают только о том, как он запер Езекию в Иерусалиме, как птицу в клетке.

Пелузий имеет дурную репутацию в летописях моровой язвы. Прокопий называет его отправной точкой чумы Юстиниана. Там же развилась чума в одном из крестоносных походов, а в 1799 году армия Наполеона была заражена и перенесла болезнь в Сирию. Объяснение этому искать далеко не надо. Восточное и южное побережья Средиземного моря, а особенно Сирия, Египет и Ливия, были пунктами, куда купцы Востока привозили свои товары для обмена с западными. С незапамятных времен арабские караваны и верблюды проходили по избитым торговым путям с Востока, примыкая к Средиземному морю у Тира, Сидона и Пелусия, а позднее - у Александрии. В этих местах встречи Востока и Запада, а также в Константинополе, чума с наибольшей вероятностью могла найти себе место, что и произошло. Возможно, восточная Дельта была эндемическим центром, но более вероятно, как считалось в случае с поздней китайской чумой, что центр распространения был первоначальным источником.

Байрон в своих строках в *"Еврейских мелодиях"* на "Разрушение Сеннахериба" уловил страстную ноту пылкого патриотизма, на которой избранная раса праздновала свое избавление от языческого врага силой своего собственного Бога, и сохранил образность и простую дикцию библейской истории:

Ангел Смерти расправил свои крылья и дышал на лицо врага, когда он проходил мимо: И глаза спящих стали мертвенно-холодными, И сердца их, лишь раз вздохнув, навеки замерли.

И мощь язычников, не поколебленная мечом, Растаяла, как снег, под взглядом Господа".

Геродот[22] сообщает, что традиция об этом чудесном избавлении жила и в Египте. Его помощник в храме Птаха в Мемфисе рассказал ему следующую историю. Следующим царем был жрец Вулкана по имени Сетос. Этот монарх презирал и пренебрегал воинским сословием египтян, как будто не нуждался в их услугах. Среди прочих обид, которые он им причинил, он отобрал у них земли, которыми они владели при всех предыдущих царях, по двенадцать акров отборной земли на каждого воина. Поэтому, когда Сеннахериб, царь аравийцев и ассирийцев, направил свою огромную армию в Египет, воины все до одного отказались прийти к нему на помощь. Тогда монарх, сильно огорченный, вошел во внутреннее святилище и перед образом бога стал оплакивать нависшую над ним судьбу. Заплавав, он уснул, и ему приснилось, что бог пришел и встал рядом с ним, велел ему быть бодрым и смело идти навстречу аравийскому войску, которое не причинит ему никакого вреда, поскольку он сам пошлет тех, кто должен помочь ему. Тогда Сетхос, полагаясь на сон, собрал всех египтян, готовых последовать за ним, которые не были воинами, но торговцами, ремесленниками и рыночным людом, и вместе с ними отправился в Пелусий, откуда открывается вход в Египет, и там разбил свой лагерь. Когда обе армии расположились друг напротив друга, ночью появилось множество полевых мышей, которые сожрали все колчаны и тетивы врагов и перекусили ремешки, которыми они управляли своими щитами. На следующее утро они обратились в бегство, и великое множество людей пало, так как у них не было оружия, которым они могли бы защищаться. По сей день в храме Вулкана стоит каменная статуя Сетоса с мышью в руке и надписью: "Смотри на меня и учись почитать богов".

У Страбона[23] есть история о мышах, перекусывающих тетиву лука, и ее вариант встречается также в китайских летописях,[24] так что ее можно рассматривать просто как образное выражение для какого-то providенциального избавления от врага, а в случае с Сеннахерибом средством избавления был мор.

Невозможно сказать, чьей была статуя, которую Геродот приписывает Сетосу, поскольку в египетской истории не известно ни одного царя Сетоса. Возможно, это была статуя Гора, египетского эквивалента Аполлона, или, не исключено, самого Аполлона, поскольку у нас есть множество свидетельств ассоциации мыши с Аполлоном. Во время моровой язвы в *"Илиаде"*[25] Хрис обращается к нему как к богу-мышь (Σμινθεύς). Страбон говорит, что у статуи Аполлона Сминтея в Хрисе, городе на Троаде, под ногой была мышь: так же выглядит бронзовая монета, хранящаяся сейчас в Британском музее. Де Витте[26] изобразил монеты Александрии, более древнего Хамаксита, в Троаде, на которых Аполлон Сминфей изображен с луком, а на его руке мышь. Аэлиан[27] говорит, что чучело мыши стояло рядом с треножником Аполлона. На древнем барельефе неопределенной даты, иллюстрирующем гомеровскую чуму и подношения греков Аполлону Сминтею, также изображена мышь на треножнике. На другом изображен Аполлон с мышью под подбородком: то же самое можно увидеть на монете Тенедоса. Белых мышей действительно держали под алтарем в храме Аполлона Сминтея в Гамаксите и кормили за государственный счет. Страбон[28] утверждает, что поклонение Аполлону Сминтею распространялось на все побережье Малой Азии и соседние острова.

Было найдено множество votивных подношений в виде мышей в Александрии, Троеде,[29] в Палестине,[30] и других местах, и Страбон предполагает, что поклонение мышам возникло из желания умиловить мышей, чтобы побудить их не опустошать кукурузные поля. Умиловление животных,[31] и особенно тех, что вредят посевам, - обычное явление в культе первобытных людей. Говорят, филистимляне делали изображения мышей, которые портили их землю, и высылали их из своей страны, чтобы побудить настоящих мышей тоже уйти. На более поздней стадии поклонения, когда бог вытеснил животное, его умиловывают вместо самого вредителя: отсюда Мышь-Аполлон,[32] Саранча-Аполлон,[33] Волк-Аполлон,[34] и Зевс-преобразователь мух.[35] Даже более низкие вредители поглощаются божеством, так что у нас есть Аполлон Эротибиус[36] (ἐρουσίβη = плесень), а римляне персонифицировали его и поклонялись ему как Робигусу[37] (*robigo* = плесень). Чамы Индо-Китая приносят жертвы грубому столбу-идолу, называемому Ян-тикух (бог-крыса), когда стаи крыс заражают поля.[38] Таким образом, Аполлон, похоже, находится в таком же отношении к мышам, как Асклепий к змее. Он не только насыщает мор, но и отгоняет его как от человека, так и от посевов. Учитывая все факты, мы можем с некоторой уверенностью заключить, что связь мышей с голодом и мором была хорошо известна, но о том, что в это время было известно о связи крыс с чумой, почти ничего не известно.

Плутарх[39] утверждает, что персидские волхвы убили всех своих мышей и крыс, потому что они и боги, которым они поклонялись, испытывали к ним естественную антипатию, которую, по его словам, они разделяли с аравийцами и эфиопами. Любопытно узнать, что могло послужить реальной причиной этой антипатии, которой Плутарх дает нынешнее объяснение. Более чем вероятно, что опыт научил эти народы тому, как эти животные связаны с голодом и, возможно, с мором.

Николас Пуссен (1593-1665) написал картину, хранящуюся сейчас в Лувре, на которой изображена чума в Ашдоде. Некачественная копия висит в Национальной галерее, а еще одна - в Академии в Лиссабоне. Ужас - доминирующая нота композиции, которая полна движения. Высоко между колоннами храма стоит ковчег Бога. Рядом с ним на постаменте распростерто тело Дагона, а голова и руки лежат внизу. Жрец указывает рукой на изуродованное изображение группы благоговейных мужчин, которые, судя по их властному виду, являются старейшинами народа. В город ворвалась стая крыс. Улицы усеяны мертвыми и умирающими каждого пола и возраста, а трупы уносят носильщики. Разбитые колонны, валяющиеся то тут, то там среди пораженных чумой, усиливают ощущение смерти и разрушения. В центре переднего плана находится группа, которую Пуссен позаимствовал у Рафаэля. Женщина с обнаженной грудью лежит мертвая между двумя младенцами: один мертв, другой приближается к груди мертвой матери. Отец опускается, протягивая руку, чтобы удержать его: другой он затыкает рот и нос, чтобы не допустить заражения. Справа другой мужчина сдерживает ребенка постарше, который приближается к мертвой женщине. Один мужчина бьется в предсмертных конвульсиях, другой лежит обессиленный на сломанном столбе. На ступеньках больной просит помощи у того, кто спешит мимо него, чтобы избежать заражения. Слева человек с выражением жалости на лице смотрит на другого, корчащегося в агонии. Вся сцена происходит в центре города на открытом пространстве, окруженном массивными зданиями в классическом стиле, который Пуссен приобрел среди разрушенных памятников Рима. Ни на одном из трупов нет характерных признаков чумы, на болезнь явно указывает присутствие стай крыс.



ПЛАСТИНА II ЧУМА АШДОДА.Н. ПУССИН

Фотография Жиродона, Париж (Лицевая страница 18)



Еще один библейский[40] мор, чума [Давида](#), представляет нам другой и более устойчивый образ моровой язвы, а также представляет собой этап, на котором религия вытеснила магию. В наказание за самоуверенность в исчислении народа Давиду предоставили выбор: семь лет голода, три месяца бегства перед врагами или три дня моровой язвы. Он выбрал последнее, и семьдесят тысяч его людей погибли. И поднял Давид глаза свои, и увидел Ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным мечом в руке своей, простертым над Иерусалимом". И когда Ангел простер руку свою на Иерусалим, чтобы разрушить его, Бог остановил его у гумна Арауны Иевусеянина. И повелел Господь ангелу, и он снова вложил меч свой в ножны его". Тогда пророк Гад сказал Давиду, чтобы он поставил жертвенник на гумне Арауны. Давид купил его, поставил жертвенник и принес жертву Богу, и чума была остановлена: на месте этого жертвенника Соломон построил храм.

Здесь мор снова выступает как свидетельство Божьего неудовольствия. Ангел является агентом, с помощью которого он распространяет чуму, а нарисованный меч, любимое оружие Израиля, заменяет лук и стрелы. Вскидывание меча - знак того, что мор закончился. Этот образ снова и снова появляется в христианской литературе и искусстве и, похоже, берет свое начало именно здесь. Ангелы - прекрасная причуда всех религий Востока. Первобытное представление о моровой язве настолько живо, что мы находим ее олицетворение с самых ранних времен: то в виде бога-лучника, то в виде идущего во тьме, то в виде ангела с нарисованным мечом. Давид приносит ту же искупительную жертву и воздвигает памятный алтарь, что и во время [Ашдодской чумы](#).

Пьер Миньяр (1610-95) изобразил [чуму Давида](#). Оригинал утрачен, но гравюру Одрана можно найти в Халкографии Лувра. Как и у Пуссена, сцена написана на фоне классической архитектуры, но в изображении фигур мало следов классического чувства. Центральной темой является идея преданности в присутствии страданий. Ангел в небе из двух сосудов выливает сернистые пары, как сера и огонь обрушились на Содом и Гоморру. На перистиле храма царь Давид приносит искупительные жертвы, чтобы остановить чуму, а народ в знак мольбы стоит вокруг ступеней храма. На заднем плане - каскад воды, падающей в бассейн, возле которого лежит умирающий человек, а другие пытаются утолить жажду. Двое мужчин спешат отогнать их от бассейна, пока они не загрязнили его воду. Этот эпизод с некоторой долей вероятности заимствован из рассказа Фукидида. В центре картины, напоминающей картину Рафаэля, молодая женщина лежит, умирая, на руках своего мужа, а ее мертвый ребенок все еще лежит у нее на коленях. На переднем плане - угольный мангал, испускающий очищающие пары. Рядом с ним врач, только что разрезавший пузырь в подмышке женщины, падает в обморок, роняя бистурию и миску, а его помощник, все еще держащий руку женщины в стороне от ее бока, хватается за своего хозяина, чтобы тот не упал. Прохожий в ужасе отползает в сторону. Сострадание и трусость здесь соседствуют. Справа двое мужчин раздают больным еду и лекарства. Санитар опускается на колени, чтобы предложить больному чашку воды, а факелonosец следует за ним с зажженным факелом, чтобы обеззаразить воздух. Рядом с ними лежит мертвая собака. Слева одна молодая женщина дает какое-то средство в ложке другой, растянувшейся на земле, а позади них стоят женщина и ребенок, оба в слезах. Отдельные эпизоды заполняют картину. Женщина хватается бьющегося в бреду мужчину, когда он выбегает из дома. Мужчина уносит на руках девочку. Женщина рвет на себе волосы, глядя на мертвое тело своего ребенка. Женщина подносит еду к окну с помощью корзины и веревки.

За исключением [Ашдодской чумы](#), трудно предположить природу этих библейских бедствий. На протяжении всего Ветхого Завета меч, голод и мор привычно связаны друг с другом. Как чума следовала под флагом торговли, так голод и тиф - под флагом войны. Во время Тридцатилетней войны вся Центральная Европа была опустошена голодом и тифом. Они свирепствовали вслед за наполеоновскими войсками, и тысячи людей погибли от тифа во время отступления из Москвы. В Крыму сыпной тиф уничтожил плохо питавшуюся армию французов, и только сегодня мы узнали, что связующим звеном между голодом и сыпным тифом является вошь. Восемнадцатый век в Ирландии, даже когда войны не было, был почти непрерывной летописью голода и тифа, и Ирландия избавилась от эпидемического тифа только тогда, когда она настолько расширила область своих поставок, чтобы обеспечить иммунитет от голода. За свое избавление от тифа Ирландия обязана своему картофелю, а не врачам. В свете свидетельств современной истории тиф вполне мог занять видное место в списке библейских болезней. Тем не менее есть немало случаев, когда настоящая чума следовала по пятам за голодом; а в Индии слишком часто появляются холера и дизентерия, чтобы завершить работу, которую голод выполнил лишь наполовину.

ГЛАВА II

Концепция моровой язвы как наказания за грех столь же заметна в греческой, как и в древнееврейской литературе. Мы видели ее в гомеровских сказаниях, и мы видим ее снова, где мы меньше всего ожидали ее увидеть, у Софокла. Мор по-прежнему сосредоточен вокруг личности Аполлона, но если у Гомера Аполлон останавливает чуму, то у Софокла к нему обращаются только за знаниями, с помощью которых можно ее остановить. Гомер наделяет его особой силой, Софокл - только особым знанием. У Гомера он - бог яркого света (φοῖβος), рассеивающего тьму чумы: у Софокла он - свет, освещающий темные места разума.

Эдип Тиран, по-видимому, был впервые публично исполнен в 429-420 гг. до н. э., возможно, до того, как афинская чума окончательно утихла. Софокл, конечно, не описывает афинскую чуму под видом фиванской, но она должна была наложить отпечаток как на его мысли, так и на мысли его зрителей. Его описание моровой язвы, уничтожающей посевы, вызывающей мор среди скота, болезни и смерть среди людей, наводит на мысль об одной из голодных чум, распространенных в античной истории. Гесиод[41] не был о них не осведомлен (λιμὸν ὄμοῖ καὶ λοιμὸν). Софокл - первый писатель, попытавшийся хотя бы в общих чертах описать мор, и при этом он нарисовал картину моровой язвы, посланной богами в наказание за грех. Путь искупления ищут в Дельфах, и в ожидании этого знания обращаются с мольбой к Афине, Артемиде и Аполлону - божествам, которые контролируют мор и держат под особым контролем город, пораженный чумой. Вот обращение к Аполлону, Делийскому целителю:

Излей из золотой тетивы свои стрелы, ликийский царь. О Фива, пусть твои огненные копья летят без устали по горной роще Ксанфа! О фиванский Вакх с блестящим взором, С факелом, со скачущими Менадами и яркой короной, Зажги на бога, от которого все на небесах отреклись.[42]

В этой архаичной атмосфере "*Эдип Тиранн*" странно смотрится рядом с реалистичными записями Фукидида, опубликованными всего несколькими годами позже. Но Софокл лишь в общих чертах передал то, что Фукидид изложил в захватывающих деталях.

Для историка, врача и литератора рассказ Фукидида о чуме в Афинах во время Пелопоннесской войны должен навсегда остаться одним из самых замечательных документов во всей летописи моровой язвы. Учитывая гораздо большую силу сухопутных войск лакедемонян, Перикл неуклонно стремился удержать афинян в своих стенах, позволяя лакедемонянам изнурять себя опустошением аттической территории, а афинскому флоту наносить ответные удары по побережью Пелопоннеса. Каждый год при приближении лакедемонской армии жители Аттики стекались в стены Афин, привозя с собой все свое движимое имущество, а овец и скот отправляли на Эвбею и соседние острова, так что дополнительный ужас большой эпизоотии был предотвращен. Большинство из них расположились на пустырях города и Пирея, а также в многочисленных храмах и вокруг них. Некоторые размещали свои семьи в башнях и углублениях городских стен или в сараях, хижинах, палатках и даже кадках, расставленных по всему периметру длинных стен. Таково было перенаселенное состояние осажденных Афин, когда на втором году Пелопоннесской войны (430 г. до н. э.) разразился мор, подвергнув политику Перикла решающему испытанию.

Разорив равнину, пелопоннесцы опустошили побережье Аттики, сначала южное, а затем и северное. Перикл немедленно снарядил афинскую морскую эскадру и нанес контрудар по Пелопоннесу. В составе этого флота было 4 000 гоплитов и 300 конников, которые опустошили район вокруг Эпидавра и другие города на прилегающем побережье. Однако, несмотря на слухи об обратном, которые достоверно передает Фукидид, кажется, что ни мор, ни действия этого экспедиционного отряда не ускорили уход лакедемонян, так как они пробыли здесь 40 дней, что было дольше, чем любое другое пребывание. В этом экспедиционном отряде разразился мор, и, несомненно, именно по этой причине он вернулся, не добившись большего. Плутарх действительно говорит, что афиняне захватили бы Эпидавр, если бы не эта вспышка болезни.

Этим же летом афиняне отправили еще один флот против Потидеи во Фракии, которая уже находилась в осаде афинской армии. Чума произвела страшный хаос в этом дополнительном отряде и распространилась от него на уже находившиеся там войска, в результате чего из 4000 гоплитов погибло 1050, так что экспедиция была вынуждена вернуться и оставить осаду войскам, которые были там до них.

В отчаянии афиняне выплеснули свой гнев на Перикла, подобно тому как люди в бреду, говорит Плутарх,^[43] обращаются к врачу или отцу. Они утверждали, что мор был вызван тем, что сельское население, привыкшее к жизни под открытым небом, укрылось в городе в душных хижинах, и поэтому оно передавало инфекцию от одного другому. Но народное недовольство утихло так же быстро, как и возникло. В благородной речи, которую подробно воспроизводит Фукидид, Перикл отучил их думать лучше. Возможно, его собственные домашние страдания пробудили в них сочувствие. От моровой язвы он потерял двух своих единственных законных сыновей, Ксантиппа и Парала, сестру, многих родственников и друзей. Смерть любимого сына, Парала, не оставила ему законного наследника, который мог бы поддержать семью и наследственные священные обряды. Этот удар, - говорит Плутарх,^[44] - придавил его к земле. Он изо всех сил старался сохранить свое привычное бесстрашие и безмятежное самообладание. Но когда он возложил венок на тело и взглянул на своего покойника, муки от всего этого захлестнули его, и он разразился горькими рыданиями и стенаниями - чего он никогда не делал за всю свою жизнь". Зрелище этого гордого, сдержанного человека, человека, который стоял непоколебимо, как скала, среди нарастающей волны народного негодования, смирившегося перед Богом, униженного перед

людьми, когда железо пронзило его внутреннюю душу, - одна из самых трогательных картин во всей истории и литературе.

Мой Бог склонил меня к тому, что я есть, Мое одиночество и горе смирили меня".

Вскоре после этого, судя по всему, мор настиг Перикла. Приступ не был, как в других случаях, резким и тяжелым. Она приняла форму легкого, но затяжного недомогания, которое медленно истощало его силы и подрывало бодрость ума". Но если судить по рассказам самого Плутарха и Теофраста в его *"Этике"* о его смертном одре, его разум был свободен от какого-либо оттенка безумия.

Первая вспышка моровой язвы продолжалась два года, с весны 430 года до н. э. до весны 428 года до н. э., затем наступило частичное, но не полное затишье на полтора года, за которым последовала еще одна вспышка в 427 году до н. э., продолжавшаяся целый год. Для Афинской державы, - говорит Фукидид, - конечно, не было ничего более разрушительного. Погибло не менее 4400 афинских гоплитов, которые были в строю, а также 300 всадников и неисчислимое количество простого народа", которое Диодор Сикулус[45] оценивает в 10 000 свободных и рабов. Бьюри[46] считает, что общее число афинских мещан (обоих полов и всех возрастов) в начале Пелопоннесской войны составляло 100 000 человек, и это число сократилось в результате моровой язвы до примерно 80 000 или менее. Метисов и рабов он оценивает в 30 000 и 100 000 человек соответственно, но кроме ненадежного заявления Диодора Сикула, у нас нет никаких данных об их сокращении. Принимая вердикт Фукидида о катастрофических последствиях моровой язвы для афинского могущества, мы не должны забывать, что действовали и другие факторы, сговорившиеся к этому же результату, на последствия которых Перикл ясно указал в своей речи перед войной. Если бы не эти факторы, Афины, без сомнения, быстро оправались бы от удара, как, как мы увидим, обычно поступали и другие города в подобных случаях.

Обстоятельства, при которых эпидемия во второй раз разразилась в Афинах, не могли сильно отличаться от тех, которые преобладали при ее первом появлении, поскольку, хотя была зима и лакедемонская армия не была в поле, окрестности были опустошены, и большая часть крестьянства, должно быть, все еще находилась в тесноте в стенах. Пока мор продолжался в Афинах, суеверия прочно овладели населением под влиянием затянувшихся страданий. По совету оракула они решили очистить остров Делос, который раньше был посвящен Аполлону, а в последнее время использовался как место погребения. Всех умерших перенесли на соседний остров Рен, и был принят закон, запрещающий впредь хоронить трупы и рожать детей на Делосе. На острове также был возрожден заброшенный панегирический праздник Аполлона. Не оставалось камня на камне, чтобы умиротворить бога, который, как теперь убеждали афинян, послал им беду.

Землетрясения и наводнения, как и мор, продолжались все лето 426 г. до н. э. Диодор Сикулус, кажется, предполагает, что землетрясения были посланы Аполлоном, которого должным образом умилоствовали, чтобы отвлечь лакедемонян от вторжения в Аттику. На самом деле так оно и было, поскольку Агис, царь Спарты, хотя и прибыл на перешеек, принял предзнаменование и повел свою армию назад. Ни Фукидид, ни Диодор Сикула не утверждают прямой причинно-следственной связи между землетрясениями и мором - вера, которая, если и была смутно предчувствуемой, приобрела определенную форму лишь позднее.

Ниже приводится полный рассказ[47] о моровой язве в изложении Фукидида:

Как только наступило лето, пелопоннесская армия, состоявшая, как и прежде, из двух третей сил каждого государства-конфедерата, под командованием лакедемонского царя Архидама, сына Зевксидама, вторглась в Аттику, где закрепились и опустошила страну. Они не пробыли там и нескольких дней, как в Афинах впервые вспыхнула чума. Говорят, что до этого *она* поразила многие места, в частности Лемнос, но нет никаких сведений о том, что в других местах происходил *такой сильный* мор или *такое* уничтожение человеческих жизней. Некоторое время врачи, не зная природы болезни, пытались применять средства, но все было тщетно, и они сами становились первыми жертвами, поскольку чаще всего вступали с ней в контакт. Никакое человеческое искусство не помогало, а мольбы в храмах, обращения к оракулам и тому подобное были совершенно бесполезны, и в конце концов люди были ошеломлены бедствием и отказались от всего этого. Говорят, что болезнь началась к югу от Египта в Эфиопии: оттуда она спустилась в Египет и Ливию, а затем, распространившись по большей части Персидской империи, внезапно обрушилась на Афины. Сначала она поразила жителей Пирея, и предполагалось, что пелопоннессцы отравили цистерны, поскольку никаких каналов там еще не было. Затем болезнь добралась до верхней части города, и тогда смертность стала гораздо выше. Что касается его вероятного происхождения или причин, которые могли или могут вызвать такое нарушение природы, то каждый человек, будь то врач или нет, выскажет свое собственное мнение. Но я опишу его реальный *характер* и симптомы, по которым любой, кто знает их заранее, может распознать это расстройство, если оно когда-нибудь появится вновь. Ведь я сам подвергался нападению и был свидетелем страданий других.

Было признано, что сезон был удивительно свободен от обычных болезней; и если кто-то уже был болен какой-либо другой болезнью, он был поглощен этой. Многие, кто был совершенно здоров, в одно мгновение и без всякой видимой причины заболели сильным жаром в голове, покраснением и воспалением глаз. Горло и язык быстро наполнялись кровью, а дыхание становилось неестественным и фекальным. Затем последовали чихание и охриплость; через некоторое время расстройство, сопровождаемое сильным кашлем, достигло грудной клетки; затем, закрепившись ниже, оно привело в движение желудок и вызвало все рвоты желчью, которым врачи когда-либо давали названия; они были очень мучительны. Безрезультатный позыв к рвоте, сопровождающийся сильным *напряжением*, возникал у большинства больных; у одних сразу же после ослабления предыдущих симптомов, у других - лишь спустя долгое время. Внешне тело было не очень горячим на ощупь и не бледным: оно имело синюшный цвет, переходящий в красный, и покрывалось гнойниками и язвами. Но внутренний жар был сильным: страдальцы не могли надеть на себя даже самую тонкую льняную одежду. Они настаивали на том, чтобы быть нагими, и не было ничего, чего бы они жаждали с большей силой, чем броситься в холодную воду. А многие из тех, за кем некому было присмотреть, и вовсе погружались в цистерны, потому что их мучила непрекращающаяся жажда, которая ничуть не утолялась, пили они мало или много. Они не могли спать: нестерпимое беспокойство не покидало их. Пока болезнь была в самом разгаре, тело, вместо того чтобы исхудать, держалось среди этих страданий удивительным образом, и либо они умирали седьмой или девятый день, не от слабости, поскольку их силы не были истощены, а от внутренней лихорадки, которая была концом большинства; либо, если они выживали, тогда болезнь спускалась в кишечник и там производила жестокое изъязвление; одновременно начиналась сильная диарея, а на более поздней стадии вызывала истощение, которое, наконец, за редким исключением, уносило их. Ибо расстройство, первоначально поселившееся в голове, постепенно переходило на все тело и, если человек переносил худшее, часто захватывало конечности и оставляло свой след, поражая интимные части, пальцы рук и ног; некоторые спасались потерей этих частей, некоторые - потерей глаз.

Некоторые не успевали оправиться, как их охватывало беспамятство, и они не знали ни себя, ни своих друзей.

Болезнь принимала *неописуемые* формы, а ярость, с которой она обрушивалась на каждого страдальца, была слишком велика для человеческой природы, чтобы выдержать ее. Но было одно обстоятельство, отличавшее ее от обычных болезней. Птицы и животные, питающиеся человеческой плотью, несмотря на то, что так много тел лежало непогребенными, либо никогда не приближались к ним, либо умирали, если прикасались к ним. Доказательством тому служило удивительное исчезновение хищных птиц, которых не было видно ни возле тел, ни где-либо еще, а в случае с собаками этот факт был еще более очевиден, поскольку они живут вместе с человеком.

Таков был общий характер болезни: Я опускаю многие странные особенности, которыми характеризовались отдельные случаи. Ни одна из обычных болезней не нападала ни на кого, пока длилась, а если и нападала, то заканчивалась чумой. Некоторые страдальцы умирали от недостатка ухода, другие - от того, что им уделялось наибольшее внимание. Ни одно средство не могло считаться эффективным: ведь то, что было полезно одному, вредило другому. Ни одно телосложение не было достаточно сильным, чтобы противостоять приступам, или достаточно слабым, чтобы избежать их: болезнь поражала всех одинаково и не поддавалась никаким способам лечения. Самым ужасным было уныние, которое овладевало каждым, кто чувствовал себя больным: он мгновенно предавался отчаянию и, вместо того чтобы выстоять, полностью лишал себя шанса на жизнь. Ужасающей была и быстрота, с которой люди подхватывали инфекцию: они умирали как овцы, если посещали друг друга, и это было главной причиной смертности. Боясь навещать друг друга, страдальцы умирали в одиночестве, так что многие дома опустели, потому что некому было ухаживать за больными; а если они решались, то погибали, особенно те, кто стремился к героизму. Ведь они шли к своим друзьям, не думая о себе, и стыдились оставить их, даже в то время, когда сами родственники умирающих наконец устали и перестали причитать, подавленные масштабами бедствия. Но каковы бы ни были случаи такой самоотверженности, чаще всего больных и умирающих выхаживали жалостливые заботы выздоровевших, потому что они знали течение болезни и сами были свободны от опасений. Ни на кого не нападали во второй раз, да еще и с летальным исходом. Все люди поздравляли их, а они сами, в избытке своей радости, невинно воображали, что не могут умереть ни от какой другой болезни.

Стечение людей из деревни в город усугубляло беду; больше всего страдали новоприбывшие. Поскольку у них не было своих домов, а в разгар лета они ютились в душных хижинах, смертность среди них была ужасающей, и они погибали в диком беспорядке. Мертвые лежали, как умерли, один на другом, а едва живые валялись на улицах и ползали у каждого фонтана в поисках воды. Храмы, в которых они останавливались, были полны трупов тех, кто в них умер, ибо жестокость бедствия была такова, что люди, не зная, куда обратиться, стали безразличны ко всем законам, человеческим и божественным. Обычаи, которые до сих пор соблюдались на похоронах, повсеместно нарушались, и они хоронили своих мертвецов каждый как мог. Многие, не имея подходящих приспособлений, поскольку смерти в их семье случались так часто, не гнушались использовать чужие места погребения. Когда один человек возводил погребальную кучу, приходили другие и, набросив сначала своих мертвецов, поджигали ее; или, когда какой-нибудь другой труп уже горел, прежде чем их успевали остановить, они бросали на него своих мертвецов и уходили.

Были и другие, более страшные формы беззакония, которые чума принесла в Афины. Люди, до сих пор скрывавшие свое потворство удовольствиям, теперь стали смелее. Видя внезапные перемены - богатые умирали в один миг, а те, у кого ничего не было, тут же наследовали их имущество, - они задумывались о том, что жизнь и богатство преходящи, и решали наслаждаться, пока есть возможность, и думать только о удовольствиях. Кто готов принести себя в жертву закону чести, если не знает, доживет ли он когда-нибудь до того, чтобы быть в чести? Сиюминутное удовольствие и все, что ему способствовало, заняли место и чести, и целесообразности. Ни страх Божий, ни закон человеческий не удерживали преступника. Те, кто видел, что все погибают одинаково, считали, что поклонение или пренебрежение богами не имеет значения. За преступления против человеческого закона наказания можно было не опасаться: никто не проживет достаточно долго, чтобы быть призванным к ответу. Уже был вынесен гораздо более тяжкий приговор, который висел над головой человека, и пока он не пал, почему бы ему не получить немного удовольствия?

Таково было тяжкое бедствие, постигшее афинян: в стенах погибали их люди, а за стенами разорялась их страна. В своих бедах они, естественно, вспомнили стих, который, по словам старших, был актуален уже давно:

Придет дорийская война, а с ней и чума.

По поводу точного выражения возникли споры: некоторые утверждали, что в оригинале было написано *limos* - голод, а не *loimos* - чума. Тем не менее, как и следовало ожидать, поскольку память людей отражает их страдания, аргумент в пользу *loimos* в то время возобладал. Но если в последующие годы возникнет еще одна дорийская война, сопровождаемая голодом, они, вероятно, повторят стих в другой форме. Ответ оракула лакедемонянам, когда бога спросили, "идти ли им на войну или нет", и он ответил, "что если они будут сражаться всеми силами, то победят, и что он сам примет в этом участие", не был забыт теми, кто слышал об этом, и они вполне представляли себе, что являются свидетелями исполнения его слов. Болезнь, несомненно, началась сразу после вторжения пелопоннесцев и не распространилась на Пелопоннес ни в какой степени, о которой стоило бы говорить, в то время как Афины почувствовали ее опустошение сильнее всего, а рядом с Афинами - самые многолюдные места. Такова история чумы".

Внимательное изучение, строка за строкой и слово за словом, описания Фукидидом клинических особенностей афинской чумы, рассматривая его, с одной стороны, в свете медицинских знаний того времени, а с другой - в свете открытий современной патологии, не может не привести непредвзятого суждения к убеждению, что мы имеем дело с сыпным тифом. Правда, она имеет близкое сходство с восточной чумой, но если возражения против этого диагноза кажутся нам непреодолимыми, то мы надеемся показать, что те, которые до сих пор казались препятствиями для диагностики сыпного тифа, либо искусственны, либо основаны на неверном толковании текста. Путаница между сыпным тифом и восточной чумой до сравнительно недавнего времени преобладала даже среди медицинских писателей; мало того, что существует поразительное сходство в клинической картине этих двух заболеваний, их постоянно смешивали в рамках одной и той же эпидемии. Это не вызывает удивления, если вспомнить, что блоха является главным агентом в распространении одной болезни, а вошь - другой.

Вряд ли найдется хоть один писатель XVI, XVII или XVIII веков, пишущий о лихорадках, который не комментировал бы совпадение злокачественных лихорадок с эпидемиями восточной чумы. Правда, не все они идентифицируют злокачественные лихорадки как тиф, просто потому, что тиф, хотя и был выделен Фракасториусом в качестве болезненного

образования еще в 1546 году, не стал общепризнанным в Европе до XVIII века, и даже тогда его идентичность была скрыта под множеством синонимов. Амбруаз Паре в 1568 году описал лихорадку, распространенную во Франции наряду с настоящей чумой, при которой на коже появлялись пятна, похожие на укусы блох или клопов. Вилальба утверждает, что несколько раз в XVI веке пятнистая лихорадка под названием Tabardiglio, которая, как теперь известно, была тифом, свирепствовала в Испании одновременно с чумой, и ее часто путали с ней. Согласно Лотцу, в 1624 году в Лондоне была злокачественная пятнистая лихорадка, которая в 1625 году перешла в чуму, а в 1626 году снова в пятнистую лихорадку. Аналогичным образом Сиденхем утверждает, что Великой лондонской чуме предшествовала и за ней следовала язвенная лихорадка, которая, судя по его описанию, явно была тифом, и отмечает, что она отличалась от чумы только более мягким характером симптомов. По мнению Дьмербрука, пятнистая лихорадка (тиф) предшествовала чуме в Голландии в 1636 году, и ее вредоносность постепенно возрастала, пока, наконец, не переросла в настоящую чуму. То же самое можно сказать о чуме Марселя в 1720 году, о чуме Алеппо в 1760 году и о чуме Москвы в 1771 году. Хэнкок в 1821 году утверждал, что почти всем самым выдающимся чумам последних двух столетий предшествовал сыпной тиф. Таким образом, эти два заболевания путают из-за их одновременного присутствия.

Мерчисон, чей трактат о сыпном тифе является памятником острого и точного наблюдения, детально прослеживает сходство этих двух болезней. Речь идет не только об общем клиническом сходстве, характерном для большинства острых инфекционных лихорадок, хотя и оно достаточно поразительно, но помимо этого существует поразительное сходство в отдельных симптомах, клиническом течении и осложнениях. Существует тенденция рассматривать бубоны как отличительную особенность чумы, но они встречаются в небольшом количестве случаев сыпного тифа. С другой стороны, петехиальные высыпания при сыпном тифе, являющиеся его наиболее характерной чертой, достаточно часто встречаются при чуме.

Заманчиво уклониться от трудностей дифференциального диагноза, предположив, что в Афинах, как это часто бывает в других местах, одновременно вспыхнули тиф и чума, но все свидетельства указывают на наличие тифа, и только тифа. Мы постараемся представить доказательства честно и просто, чтобы каждый читатель мог сделать свой собственный вывод, ссылаясь на прилагаемое повествование Фукидида.

Начавшись в Эфиопии, болезнь, по слухам, распространилась на север, в Египет и Ливию, затем по большей части Персидской империи, которая в то время включала почти всю Западную Азию, а потом внезапно обрушилась на Афины. Говорят, что та же болезнь ранее атаковала Лемнос и многие другие места, но с гораздо меньшей силой. С Лемносом Фукидид наверняка был близко знаком, ведь он лежал на прямом пути во Фракию, где у него была собственность. Он осторожно говорит, что сообщает эту информацию, а также сведения о начальной точке и линиях ее распространения только понаслышке. Если это действительно была часть одной обширной пандемии, то удивительно, что у него нет более точных сведений о ее распространении. Правда, в этом же году мор свирепствовал и в Риме, но не следует полагать, что он обязательно был того же характера, что и в Афинах. На протяжении всего пятого века Рим редко обходился без моровой язвы, а Ливий и Дионисий Галикарнасский фиксируют череду эпидемий, некоторые из которых длились несколько лет, упорно следуя одна за другой. Если принять версию о происхождении в Эфиопии и последующих линиях распространения, то это, безусловно, станет весомым аргументом в пользу восточной чумы. В последние годы эндемический очаг чумы был обнаружен в Центральной Африке, и при его распространении болезнь следовала по установленным

торговым путям, как это обычно и происходило. Пандемичность также является неотъемлемой тенденцией чумы. Тиф по большей части следовал за маршем армий, за голодом и не проявлял особой склонности придерживаться проторенных торговых путей. В некоторых случаях тиф распространялся в одно и то же время на обширные территории, но в большинстве случаев он охватывал смежные участки земли. Так, Хильдебранд зафиксировал эпидемию, распространившуюся на всю Германию, Галицию, Венгрию и австрийские коронные земли.

Фукидид утверждает, что афинская чума была неизвестной болезнью. Теперь есть много доказательств того, что во времена Фукидида бубонная чума в спорадической форме была признана клиническим явлением. Язык отрывка из 2-й книги "Эпидемии", трактата школы Гиппократов, вряд ли поддается какой-либо другой интерпретации: $\delta\iota\ \epsilon\tau\iota\ \beta\omicron\upsilon\beta\omega\sigma\iota\ \tau\upsilon\tau\epsilon\tau\omicron\iota\ \kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu\varsigma$, $\tau\lambda\eta\nu\ \tau\omega\ \epsilon\phi\eta\mu\acute{\epsilon}\rho\omega\nu$, $\kappa\alpha\iota\ \omicron\iota\ \epsilon\tau\iota\ \tau\upsilon\tau\epsilon\tau\omicron\iota\ \beta\omicron\upsilon\beta\omega\sigma\iota\ \kappa\alpha\kappa\acute{i}\omicron\nu\epsilon\varsigma$ ("лихорадка, сопровождающаяся бубонами, - плохой знак, если только они не эфемерны: но бубоны, сопровождающие лихорадку, еще хуже"). Упоминания о бубонах у Аристофана настолько многочисленны, что почти исключают любой другой вывод: и нельзя утверждать, что они были последствием эпидемии, поскольку Фукидид[48] косвенно утверждает полное исчезновение болезни.

Вспышка моровой язвы сначала в Пирее предполагает завоз по морю. Морские перевозки гораздо более характерны для чумы, чем для тифа, хотя тиф достаточно часто завозился из Ирландии в Англию, а также был привезен в Англию войсками из Корунны, а во Францию - французскими войсками из Крыма. С другой стороны, именно в Пирее перемещенные крестьяне беспорядочно толпились в маленьких удушливых жилищах, создавая именно те условия, в которых тиф обычно возникал и становился эпидемией.

Среди эпидемических болезней, которые в прошлые времена опустошали осажденные города, тиф, несомненно, занимает почетное место. Гранада в 1489 году, Мец в 1552 году, Монпелье в 1623 году, Рединг в 1643 году, Генуя в 1799 году, Сарагосса в 1808 году, Данциг и Вильна в 1813 году, Торгау в 1814 году - все они рассказывают одну и ту же историю. Учитывая наши недавно приобретенные знания о передаче сыпного тифа с помощью вшей, легко понять, насколько эпидемически опасной была эта болезнь среди осажденного и переполненного гарнизона. Мурчисон, чьи знания и опыт в области тифа были непревзойденными, безошибочно определил афинскую чуму как тиф, как в силу этого особого обстоятельства ее возникновения, так и в силу клинической картины в целом.

Мимолетные замечания Фукидида о причинах моровой язвы показывают, что он не только превосходит суеверное легкое верие некоторых своих соотечественников, но и намного опережает наиболее просвещенное медицинское мнение своего времени. В Афинах еще оставались те, кто уповал на мольбы в храмах и расспросы оракулов: но теперь эти меры были взвешены на весах и признаны недостаточными. Суровый опыт персидских войн преподал урок, что победа - награда сильного, а не вознаграждение благочестивого; и вместе с этим знанием погибла вся ткань греческого политеизма. Поэтому теперь большинство населения приписывало мор естественным причинам: лакедемоняне наверняка отравили колодцы. С этого дня и вплоть до наших дней этот фантом яда преследует эпидемию.

Фукидид не оставляет никаких сомнений относительно своих взглядов: он навсегда покончил со сверхъестественной причиной, хотя и признается в своей неспособности определить точную причину, оставляя это на усмотрение других. Он утверждает и безоговорочно принимает заразу, передающуюся от человека к человеку. В этом его

великий современник, Гиппократ, значительно отстает от него. Ум отца медицины все еще находился в рабстве у ранних греческих физиков. Считая, что болезнь вызывается телесными нарушениями, связанными либо с характером вдыхаемого воздуха, либо с потребляемой пищей и питьем, Гиппократ неизбежно должен был придать главное значение изменениям в атмосфере, которым в равной степени подвержены все. Он, правда, признает возможность ее загрязнения чужеродными гнилостными выделениями, но при всем том именно физические изменения в ее составе, по его мнению, имеют первостепенное значение. О передаче инфекции от человека к человеку он не имел ни малейшего представления, и для него, как и для Галена, и даже для нашего Сайденхема, единственным критерием эпидемичности было одновременное заболевание большого количества людей.

Для изучающего историю медицины не будет неожиданностью, что Фукидид увидел незамутненным зрением то, что Гиппократ видел пока лишь как сквозь темное стекло. Медицина во все века была подневольной служанкой правдоподобных предубеждений, и для профессионального самодовольства унизительно просмотреть длинный ряд светских писателей, начиная с Фукидида и далее, которые принимали заразность как доказанный факт, прежде чем весы упали с глаз мракобесной науки. Из многих мы можем перечислить Аристотеля, Лукреция, Диодора Сикула, Вергилия, Овидия, Дионисия Галикарнасского, Ливия, Сенеку, Силия Италийского, старшего Плиния и Плутарха: но только у Аретея Каппадокийского, во втором веке после Рождества Христова, мы встречаем четкое и однозначное признание у любого медицинского автора. Наука, не опирающаяся на буквы, склонна вызывать умственную близорукость, и нам, медикам, не мешало бы задуматься над историей Архимеда, который, рисуя математические фигуры на песке, ценой своей жизни упустил из виду, что город перешел в руки врага.

Хотя Фукидид первым из дошедших до нас авторов четко сформулировал доктрину заражения, есть основания полагать, что восточная медицина уже усвоила эту идею. Левитские предписания, похоже, признают ее в случае проказы. Правда, они достигли окончательной редакции только после Фукидида, но в то же время они представляют собой свод гораздо более древних традиций.

Фукидид тщательно следит за тем, чтобы сезон не был болезненным, ведь сам Гиппократ приписывал мор жару и южным ветрам, ухудшающим атмосферу, и, следуя примеру Акрона и Эмпедокла из Агригентума, пытался изменить состав атмосферы в сезон моровой язвы, разжигая большие костры. Акрон стремился лишь уменьшить ее влажность, а Гиппократ, возможно, пытался уничтожить фумигацией гнилостные выделения, возникающие из-за жары в воздухе. Его примеру неукоснительно следовали во время чумы в Лондоне в 1666 году и в Марселе в 1720 году. Сравнение Фукидида с Диодором Сикулом мало что говорит в пользу последнего. Диодор считает, что чума в Афинах возникла под воздействием трех различных факторов. Во-первых, за предыдущую зиму выпало так много осадков, что почва пропиталась влагой и заболотилась: после этого необычайно жаркое лето привело к выделению из почвы гнилостных выделений, которые загрязнили воздух. Фактически мор был продуктом болотных миазмов. Считается, что Эмпедокл из Агригентума избавил Селинус от моровой язвы в V веке до н. э., осушив его болота, и это событие отмечено сохранившейся монетой: а Гиппократ явно признавал связь периодических (т. е. малярийных) лихорадок с болотами.

Во-вторых, в качестве причины он называет недостаток хорошей пищи, поскольку дождь также повредил зерно. Это было небезосновательное предположение, поскольку распространенность грибка спорыньи в зерне ржи после влажного сезона привела к многочисленным и широкомасштабным эпидемиям спорыньи.

В-третьих, этезианские ветры не дули, поэтому воздух перегревался, вызывая в телах людей всевозможные жгучие расстройства. Диодору достаточно того, что Гиппократ, Лукреций и другие постулировали эти причины моровой язвы, чтобы обеспечить им признание в трезвом отчете его истории. Фукидид отказывается даже обсуждать столь туманные гипотезы и предпочитает описывать реальные симптомы болезни, как он сам их ощущал и наблюдал в страданиях других, чтобы любой, кто с ними знаком, мог сразу распознать болезнь в случае ее повторного появления.

Фукидиду принадлежит заслуга не только первого подробного описания фактического нашествия моровой язвы, но и описания, в каждой строчке которого дышит истинный дух истории, фиксирующей прошлые события как средство для более точного предсказания будущего - дух, побуждающий его во всех своих исторических сочинениях давать "верное представление о событиях, которые произошли, и о тех, которые, как можно ожидать, произойдут в будущем в порядке человеческих вещей" - весь долг историка, который до него в полной мере не осознавал даже Геродот. Он так хочет, чтобы его читатели увидели вещи так, как видел их он, и извлекли из них те же уроки, что и он, что он готов иногда манипулировать своим повествованием, как, например, когда он переносит великую похоронную речь Перикла в непосредственное сопоставление с рассказом о моровой язве, несомненно, для того, чтобы усилить драматический эффект. Его картина чумы настолько яркая и убедительная, что трудно поверить, что прошло около десяти лет, прежде чем он взялся за перо, и около тридцати или более, прежде чем все это приобрело свою нынешнюю форму. Нет ничего удивительного в том, что Лукреций, Прокопий, Боккаччо и Фруассар отдали дань сознательного подражания этому энергичному повествованию. (См. Приложение.)[49]

Фукидид первым нарисовал картину деморализации общества во время моровой язвы - тема, ставшая общим местом у более поздних историков чумы. Тщетность усилий врачей, безжалостное шествие моровой язвы, страдания больных, пренебрежение к мертвым, загрязнение храмов, святотатственные погребальные обряды - эти и подобные сцены пестрят в калейдоскопе человеческих страданий. Священные узы родства уступили под жестокого чувства страха. Повсюду царило беззаконие, потому что люди, видя неопределенность жизни и богатства, решили развлекаться, пока есть возможность. Те, кто видел, что все гибнут одинаково, считали, что поклонение или пренебрежение богами не имеет значения.

Трудно определить, какие следы моровой язвы можно найти в современном греческом искусстве и архитектуре. Некоторые считают, что статуя Афины Здоровья, установленная афинянами у восточного портика Пропилеи, ознаменовала уход чумы из Афин. Ее культ был гораздо древнее и, возможно, восходит к примитивному представлению о Матери-земле, великой защитнице всех своих детей, как в христианской агиологии Мадонна здоровья укрывает их от чумы и моровой язвы.

Павсаний[50] рассматривает романтический храм Аполлона в Бассах как память об избавлении Фигалии от приступа этой чумы в 430 году до н. э. Он, кажется, делает вывод об этом на основании посвящения храма Аполлону под именем Помощник (Επίκοῦριος). С другой стороны, из Фукидида[51] мы знаем, что чума почти не коснулась Пелопоннеса. Маловероятно также, что афинский архитектор Иктин, который, как говорит Павсаний, построил ее, стал бы работать на пелопоннесцев во время войны с Афинами.

Такие же сомнения вызывает атрибуция храма Аполлона-помощника в Элисе и храма Пана-избавителя в Троезене, и в каждом случае традиция связана с фамилией бога в сочетании с датами их возведения.

Павсаний[52] говорит, что статуя Аполлона, Избавителя от зла (Ἀλεξίκακος), воздвигнутая Каламисом в Афинах в память об избавлении от чумы, но это не может быть так, поскольку Каламис умер до начала чумы.

Однако подобные посвящения были достаточно распространены. Когда Эпименид избавил Афины от моровой язвы, он очистил город и установил святилище Эвменидам, а жители Танагры[53] подобным образом выразили свою благодарность Гермесу-бараноносцу (Κρυοφόρος), поручив Каламису воздвигнуть статую в его честь.

Пуссен написал "Афинскую чуму" - картину, которой очень дорожат, сейчас она находится в галерее сэра Фредерика Кука в Ричмонде. Это тусклая деревянная композиция, и она очень неблагоприятна по сравнению с его "Ашдодской чумой", несмотря на близкое сходство инцидентов и эпизодов, которые на ней изображены.

ГЛАВА III

В отличие от Греции, молодой Рим был подвержен постоянным эпидемиям: чума пронизывает страницы его истории. Мы увидим, какой глубокий отпечаток они оставили на зарождающейся религии, литературе и искусстве Рима.

Поначалу чума, должно быть, была эндемичной и, несомненно, размножалась в обширных болотах, которые лежали в пределах города и вокруг него на многие мили, ведь Рим тогда не был торговым городом. Свою кукурузу он получал из Италии и Сицилии, а с Египтом практически не общался, вплоть до завоевания Карфагена. И все же, несмотря на многочисленные сохранившиеся записи о ее моровой язве, нет ни одной, природу которой можно было бы определить до настоящей чумы Григория Великого.

Согласно Плутарху[54], на восьмом году правления Нумы Помпилия (707 г. до н. э.), через сорок шесть лет после основания города, в Италии и Риме был мор: легенда о нем полна интереса. Во время его прохождения в руки Нумы с неба упал медный меч. Эгерия и музы объяснили ему его значение. Она была послана с небес для сохранения города, а чтобы ее не украли, нужно было сделать еще одиннадцать таких же, чтобы ни один вор не смог отличить ее от остальных. Немедленное прекращение моровой язвы, казалось, подтвердило это толкование. Один Ветурий Мамурий успешно изготовил одиннадцать копий, и Нума передал ответственность за все пряжки салиям, так называемым из-за танца, который они вели по улицам, когда в марте месяце проносили священные пряжки по городу. По этому случаю, - говорит Плутарх, - они облачаются в пурпурные жилеты, подпоясанные широкими медными поясами: на них также медные шлемы, они носят короткие мечи, которыми бьют по пряжкам, и под эти звуки они притопывают ногами. Они двигаются в приятной манере, совершая определенные вращения и эволюции в быстрой мере, с энергией, ловкостью и легкостью..... Наградой Мамурию за его искусство была, как нам говорят, ода, которую салийцы пели в память о нем вместе с пирровым танцем. Некоторые, однако, утверждают, что в этом произведении прославлялся не Ветурий Мамурий, а *vetus memoria*, древнее

воспоминание о нем". Легенда представляет собой безошибочное свидетельство некой искупительной церемонии, которая сначала была введена для облегчения определенной чумы, но впоследствии, ввиду постоянного повторения, проводилась дважды в год. Плутарх опускает одну важную особенность салического ритуала - вождение по улицам человека, одетого в кожу, по имени Мамурий Ветурий (старый Марс), в то время как салии осыпали его ударами и изгоняли из города. Примеры в древнем фольклоре[55] козлов отпущения в виде животных и людей для изгнания моровой язвы столь многочисленны, что мы вполне можем искать толкование этой салической церемонии в сохранении этого представления. Танцы, пение и столкновение щитов, возможно, были призваны изгнать злого демона из города, чтобы затем передать его козлу отпущения Мамурию. В Танагре юноша, который ежегодно носил барана на плечах вокруг стен города, делал это как представитель бараноносного Гермеса, который таким же образом предотвратил чуму.[56]

Плутарх рассуждает о значении этих пряжек, называемых Анкилиями, как говорили, из-за их изогнутой формы (ἄγκυλον). В качестве альтернативных производных он предлагает ἀνέκαθεν = свыше: или ἄκεις = исцеление больных: или αὐχμῶν λύσις = прекращение засухи: или ἀνάσχεσις = избавление от бедствий. Но каково бы ни было этимологическое значение, их ритуальная цель, по-видимому, заключалась в том, чтобы отгонять дротики и стрелы моровой язвы, а салический обряд был посвящен чести отправителя. Богом он не был, поскольку религия Рима времен Нумы не знала богов в человеческом обличье: они были более поздним импортом из антропоморфной религии Греции. Он был неким *нуменом*, некой силой, менее личной, чем бог, но более личной, чем дух. Именно он своими злыми махинациями порождает мор. Легенда вновь возвращает нас к границам имитационной магии. Правда, создается не возбудитель моровой язвы, не медный змей, не мыши, не эмероды, а средство избавления, "щит твой и пряжка".

В более поздние времена Салии фигурируют как коллегии жрецов, посвященные сначала поклонению Марсу, а затем и Квирину. Эта трансформация служила для того, чтобы скрыть их истинное происхождение, которое утверждает Плутарх и которое есть все основания принять. Марс изначально был не богом войны, а сельскохозяйственным богом и, как Аполлон, хранителем урожая. Одновременно с трансформацией ритуал приобрел более воинственный характер: салийцы исполняли военный танец в полном боевом облачении, когда процессия проходила через город дважды в год, в марте и октябре. Начало и конец сезона моров незаметно перетекали в начало и конец сезона кампаний. Гораций[57] рассказывает об олдерменском великолепии их праздничной трапезы.

Гимн салийцев был написан архаичным сатурнианским стихом, фрагменты которого дошли до нас. Квинтилиан[58] утверждает, что к I веку до н. э. примитивный язык, передававшийся с точностью до слов из поколения в поколение, стал непонятен тем, кто его торжественно декламировал. Один из фрагментов поучителен по своему значению:

Cumé tonas, Leucésie, prae tet tremonti, Quom tibeí cunei dextumúm tonárent.

("Когда ты гремишь, бог Света, они трепещут от твоего присутствия, когда молнии гремят из твоей правой руки"). Эти строки напоминают о фигуре Аполлона Дальнего в *"Илиаде"* и его призыве в *"Эдипе Тирани"*.

Мор снова пришел в Рим незадолго до смерти Туллы Хостилия[59] в 640 г. до н. э. Сам Тулл заболел и во время болезни возродил все суеверные обычаи, хотя в здоровом состоянии он презирал религию. Люди также были убеждены, что только получив прощение богов, они избавятся от моровой язвы. Поэтому Тулл обратился к комментариам Нумы и, узнав, что Юпитеру Элицию (*elicere* = выведывать) следует принести определенные жертвы, приступил

к их совершению. Но поскольку ему не удалось провести их в надлежащей форме, он не только не выполнил свою цель, но и вызвал такой гнев Юпитера, что тот поразил его молнией и обратил в пепел его самого и всех его домочадцев. История Ливия о Тулле хорошо иллюстрирует отношение римлянина к своему богу: это было практическое, а не духовное отношение, сделка, а не акт милости. Если римлянин выплачивал богу все положенные ему поклонения, он имел право на полное воздаяние. Снова и снова, под воздействием моровой язвы, неспособность бога выполнить свои обязательства заставляла римлянина попытаться счастья с чужими богами. Именно в таком духе Тарквиний Супербус,[60] во время очередной чумы в 514 году до н. э., отправил своих сыновей в греческие Дельфы, чтобы узнать у бога, как от нее избавиться. Таким образом, чуме было суждено выковать множество звеньев в цепи, связывавшей Рим с Грецией.

В пятом веке до нашей эры Ливий и Дионисий Галикарнасский описывают постоянную череду чумы в Риме. Упоминается, по меньшей мере, восемь посещений, и поскольку некоторые из них продолжались несколько лет, Рим в пятом веке редко мог быть свободен от моровой язвы. И тем не менее, все это время он не только рос, но и посылал колонии.

О чуме в 473 году до н. э. есть интересный рассказ Дионисия Галикарнасского.[61] В начале года, - пишет он, - произошло много чудес и знамений, которые наполнили город суеверием и страхом перед богами; все авгуры и толкователи священных вещей заявили, что это знаки божественного гнева, потому что некоторые обряды не были выполнены с святостью и чистотой. Вскоре после этого на женщин, особенно на тех, которые были беременны, напала болезнь, которую считали моровой язвой, и их умерло больше, чем когда-либо прежде. Ибо когда у них случались выкидыши и они приносили мертвых детей, они умирали вместе со своими младенцами. И ни мольбы у статуй и алтарей богов, ни искупительные жертвы, приносимые от имени общества и частных семей, не приносили женщинам облегчения". После этого выступил раб и обличил в нечистоте Урбинию, одну из весталок, прислуживавшую у вечного огня. Понтифик сразу же лишил ее сана, привлек к суду, осудил и приговорил "к порке прутьями, пронесению через весь город и погребению заживо". Один из ее виновных любовников покончил с собой: другого приказали публично выпороть, как раба, а затем предать смерти. После этого "болезнь, напавшая на женщин и вызвавшая столь большую смертность среди них, вскоре прекратилась". Опять же, мор приписывается несовершенному исполнению какого-то ритуала, который должен быть немедленно исправлен, чтобы умиротворить посылающего мор. Особое влияние этого заболевания на женщин, казалось бы, должно было сгладить их вину. Поэтому было решено, что жизнь женщины должна стать его искуплением. Такого самое раннее подробное описание человеческих жертвоприношений для избавления от чумы, но мы еще не раз встретимся с этим в истории эпидемий моровой язвы. Конечно, тигр в человеке лишь ненадолго заперт в своей человеческой клетке.

Человеческие жертвоприношения, вероятно, были распространены по всему миру в самые ранние века существования государств. Финикийцы[62] прибегали к нему во времена национальных бедствий, таких как эпидемии моровой язвы. В Библии[63] и других источниках содержится множество свидетельств того, что человеческие жертвоприношения были обычным делом в первобытной семитской религии. Израильяне были склонны утверждать, что научились этим обычаям у народов, которых они вытеснили в Ханаанской земле, но следует помнить, что они происходили из той же расы, что и эти народы. Павсаний[64] ссылается на легенду о Леосе, который, как говорят, по велению оракула принес в жертву своих дочерей, чтобы спасти Афины от голода; а рассказывая о разрушенном городе Потняе[65], он говорит, что дельфийский оракул сказал им, что они

избавятся от моровой язвы, только принеся в жертву цветущего мальчика Дионису, который послал его за убийство своего жреца. На афинском празднике Фаргелии в мае мужчину и женщину вели через город и забивали камнями до смерти за его стенами, мужчину - за мужчин, а женщину - за женщин; подобная практика сохранялась и на Сатурналиях в Риме. Но с развитием цивилизации на смену человеческим жертвам пришли животные.

Филострат[66] приводит еще один примечательный случай человеческих жертвоприношений для избавления от моровой язвы. Эфесцы призвали Аполлония (I век н. э.), чтобы он прибыл для борьбы с чумой. Прибыв на место, он сразу же принялся подбадривать горожан и собрал их в театре, где сейчас стоит статуя Аверрунка. Там они нашли старого нищего, который, по приказу Аполлония, должен был забить их камнями до смерти, как врага богов. Как только они начали побивать его камнями, из глаз старого нищего вырвался огонь, так что они узнали в нем демона. Убив его, Аполлоний велел снять камни с трупа, и вместо человеческого тела они обнаружили свирепого пса, извергающего пену, словно бешеный..... Форма, которую приняла эта собака, была похожа на ту, что придана статуе Аверрунка".

Кровавая жажда панического ужаса, нашедшая свое удовлетворение в убийстве Урбиния, является прямым потомком хладнокровного ритуала человеческих жертвоприношений: ни одна человеческая страсть не является столь жестокой, как страх. Но мы не найдем даже такого оправдания пыткам и убийствам "unctores" в Генуе и Милане, а также массовому истреблению евреев во времена Черной смерти, которое осуществлялось по закону, гораздо более продуманному, гораздо более длительному и гораздо менее страстному, чем любой обряд человеческого жертвоприношения.

Во время моровой язвы 461 года до н. э. смертность была настолько велика, что возникла необходимость бросать мертвые тела в Тибр. Ливий[67] говорит, что эпидемии предшествовала эпизоотия крупного рогатого скота, а необходимость впускать скот в стены из-за вторжения на римскую территорию аэков и вольсков усилила злобность эпидемии. В этот тяжелый период сенат приказал народу обратиться к богам с мольбой о защите. Эти "мольбы" приняли форму искупительных процессий и, похоже, были завезены в Рим из Греции. Как и салические процессии, они двигались под звуки музыки и пение, посещая святилища богов, преклоняясь перед их статуями, прижимаясь к их коленям и целуя их руки и ноги. Ливий[68] считает, что боги-покровители и удача города спасли Рим в этот момент, так как страх перед мором заставил врагов перенаправить свои атаки на более богатую и здоровую территорию тускуланцев. Незадолго до этой вспышки Ливий[69] рассказывает, что небо, казалось, озарилось необычайно ярким светом. Неясно, какое небесное явление он имеет в виду, но оно примечательно тем, что, возможно, предвосхищает укоренившуюся в более поздние времена веру в кометы как предвестники моровой язвы.

Вера в астральное влияние на земные явления и дела человечества была общей и восходит к доисторическим временам. Гиппократ считал, что каждый врач должен быть сведущ в астрологии. Зависимость времени года от небесных тел и сезонная распространенность эпидемических заболеваний были фактами, очевидными для всех, так что утверждение о влиянии небесных тел на болезни казалось древним вполне разумным, хотя при чрезмерной настойчивости оно становилось абсурдным. Когда мор редко отсутствовал, он обязательно должен был иногда совпадать с определенными соединениями планет. Насколько глубоко это убеждение укоренилось в медицине, показывают слова из предисловия к немецкому "Гербарию", [70], впервые опубликованному в 1485 году.

"Много раз и много времени я внутренне созерцал чудесные дела Творца вселенной: как в начале Он образовал небеса и украсил их прекрасными, сияющими звездами, которым Он дал силу и власть влиять на все под небесами. И как потом Он образовал четыре стихии: огонь, горячий и сухой - воздух, горячий и влажный - воду, холодный и влажный - землю, сухой и холодный - и дал каждой из них свою природу: и как после этого тот же Великий Владыка природы создал и сформировал травы многих видов и животных всех видов, и, наконец, человека, благороднейшего из всех сотворенных существ. После этого я задумался о чудесном порядке, который Создатель придал этим своим созданиям, так что все, что имеет свое бытие под небом, получает его от звезд и сохраняет с их помощью".

Дионисий Галикарнасский[71] описывает еще один страшный мор в 451 году до н.э., который унес всех рабов и половину граждан Рима. Загрязнение Тибра мертвыми телами, по всей видимости, усилило его разрушительные последствия. В Риме и его окрестностях гибли и люди, и скот, а затем наступил голод, поскольку земля оставалась необработанной. Пока люди надеялись на помощь своих богов, они обращались к ним с жертвоприношениями и всевозможными искуплениями. Но когда все это оказалось бесполезным, они принялись внедрять иноземные новшества в устоявшуюся религию Рима. В последующем мы увидим, в какую сторону сначала устремили свои взоры разочарованные римляне.

В 435-430 гг. до н. э. мор,[72] последовавший за засухой и эпизоотией скота, разразился в Риме и окрестностях, не выдержав человеческих усилий. Частые землетрясения предшествовали большому подъему эпидемии в 431 году до н. э.: казалось, сами силы природы объявили Риму войну. Народ возносил общие мольбы к богам, повторяя формулы слово в слово за дуумвирами, чтобы никакая ошибка в слове или слоге не могла лишить их сана: но тщетно. Так поклонение Аполлону было перенесено из Греции в Рим, и в 431 году до н. э. в его честь был воздвигнут храм. Аполлон не мог быть совершенно незнакомым богом, ведь сивиллины, по крайней мере, должны были познакомить Рим с его именем. Но с этого времени он становится естественным ведущим римским богом. Из его храма во время моровой язвы по улицам города проходили искупительные процессии, и по мере того как чума сменяла чуму, он шаг за шагом вытеснял более древних местных богов.

В 395 году до н. э. мор[73] произвел такой хаос, что сенат приказал обратиться к сивиллиным книгам. Это собрание прорицаний на греческом языке, произнесенных вдохновенными пророчицами или сивиллами (Σίβυλλα = дорийский Σιὸς βόλλα = Διὸς βουλὴ = воля бога), попало из Трои в Кумы. Затем Тарквиний Супербус перевез часть книги в Рим и положил ее на в священное хранилище, чтобы использовать по приказу сената во время чрезвычайных ситуаций. Поскольку эти книги признавали богов и ритуалы азиатских греков, они сыграли ведущую роль во внедрении греческих богов и греческого ритуала в религию Рима. По этому случаю сивиллины предписывали праздновать *лектистерний*.

Лектистерний, который впервые появился в Риме, был праздником греческого происхождения. Перед божествами, чьи изображения располагались на кушетках, устраивался роскошный публичный пир. О его иностранном происхождении свидетельствовала выставка трех пар чужеземных богов - Аполлона и Латоны, Дианы и Геркулеса, Меркурия и Нептуна. Воображаемые жители видели, как они принимают пищу или в гневе отворачиваются от нее. Тем временем по всему городу шли домашние пиры, на которые приходили и незнакомцы, и друзья, и даже освобожденные пленники, чтобы каждый получил свою долю. Двери повсюду были открыты, предлагая дом каждому случайному посетителю. Все вещи были общими. Ни один звук раздора не нарушал идеального мира. Народ был допущен к торжественному общению с богами, как греческие

воины перед Троей общались со своими богами на евхаристическом пире в знак того, что чума остановлена.

Одновременно с этой эпидемией в Риме Диодор Сикул[74] с клиническими подробностями описывает мор, который напал на карфагенскую армию во время осады Сиракуз. Лакедемоняне помогали Дионисию и сиракузянам в борьбе с карфагенянами. Эта запись интересна тем, что выставляет Диодора в роли грубого плагиатора Фукидида.

Но что касается карфагенян, то после того, как они разорили пригороды, разграбили храмы Цереры и Прозерпины, на армию обрушилась чума, и, чтобы усилить и обострить месть богов за них, время года и скопление людей в значительной степени способствовали усугублению их несчастья: ведь лето было жарче, чем обычно, и сама местность способствовала тому, что болезнь разбушевалась до неузнаваемости. Незадолго до этого афиняне были уничтожены чумой в том же самом месте, поскольку оно было болотистым и низинным. В начале эпидемии, еще до восхода солнца, их тела дрожали и тряслись от холода воздуха, выходящего из воды, а к полудню они задыхались от жары, потому что были так тесно прижаты друг к другу. Южный ветер принес среди них заразу и сметал их в кучи, но некоторое время они хоронили своих мертвецов. Но когда число умерших возросло до такой степени, что даже те, кто ухаживал за больными, были отрезаны, никто не решался подойти к зараженным, ибо болезнь казалась неизлечимой. Сначала от зловония непогребенных тел и гниения земли появились катары и припухлости на шее (περί τὸν τράχηλον οἰδήματα). Затем следовали лихорадка, боль в мышцах позвоночника, тяжесть в конечностях, дизентерия и гнойники (φλύκταινα) на поверхности всего тела. Большинство страдало таким образом, но другие впадали в безумие, забывали обо всем и, бросаясь по рассеянности, наносили удары каждому встречному. Вся помощь врачей была тщетной, как из-за жестокости болезни, так и из-за внезапности, с которой она уносила многих: ведь среди ужасных страданий они обычно умирали на пятый или, самое позднее, на шестой день, так что погибших в бою все считали счастливыми. Кроме того, было замечено, что все, кто ухаживал за больными, умирали от той же болезни, а усугубляло страдания то, что никто не хотел приближаться к измученным и изнуренным людям, чтобы прислуживать им. Ибо не только чужаки, но даже братья и знакомые друзья были вынуждены из-за страха заразиться покидать друг друга".

Диодор, похоже, использовал клинические симптомы нескольких различных заболеваний, чтобы усилить эффект от своего описания. Сочетание пустул на теле с припухлостями на шее наводит на мысль о настоящей чуме, но на этом сходство заканчивается. Есть и другие описания моровой язвы у Диодора Сикула, в которых прослеживается та же эклектичная тенденция.

В 363 году до н. э., после одной или двух более слабых вспышек, в Риме начался очередной период чумы[75]. Плутарх говорит, что от него погибло огромное количество людей, большинство магистратов и сам Камилл. Когда все остальное не помогло умиротворить богов, из Этрурии стали привозить сценические постановки. До этого у римлян были только цирковые игры. Ливий описывает их появление в Риме в мельчайших подробностях, прослеживая развитие регулярных сценических постановок из этих грубых сценических представлений. Актеры", - говорит он, - "были посланы из Этрурии, которые без песен и жестов регулировали свои движения в соответствии с мерами музыки и демонстрировали в тосканской манере отнюдь не грациозные танцы". Для древних движения тела говорили на языке, столь же знакомом, как и движения языка. "Мне показалось, - продолжает он, - что следует обратить внимание на первое происхождение пьес, чтобы показать, как из скромного начала они достигли своей нынешней экстравагантности". Однако первое появление пьес, задуманное как религиозное искупление, не избавило ни их умы от

религиозного трепета, ни их тела от болезней". Тибр затопил цирк и прервал представление, как будто боги презрели их искупительные усилия. Так народное развлечение наконец-то вытеснило народное искупление, породив при этом драматическое развлечение. В этом отношении мы увидим, что история повторяется с поразительным сходством во времена чумы в Средние века.

Так зародились и развивались сценические пьесы (*ludi scenici*), созданные в первую очередь для того, чтобы отвлечь ум и отвлечь дух от сокрушительной катастрофы моровой язвы. За визитом последовало землетрясение, которое, по преданию, открыло на Форуме зияющую пропасть, в которую Манлий Курций бросился в полном вооружении - добровольный человеческий козел отпущения, принесенный в жертву разгневанным богам.

Когда эти меры не помогли унять мор, был торжественно возрожден старый обычай вбивать гвоздь в храм Юпитера. Эта практика изначально была направлена на составление календаря лет. Но однажды, когда диктатор вбил гвоздь, мор сразу же прекратился. Теперь же утверждалось, что если гвоздь вбивает диктатор, а не обычный магистрат, то мор прекращается. Так говорит Ливий, но есть множество свидетельств, как из древней литературы, так и из современного фольклора, что он упустил реальное значение этого действия. Мы находим следы всемирной веры в возможность переложить зло тела, равно как и зло души, на какое-то другое существо, или животное, или вещь. Козел отпущения знаком всем, и мы знаем из книги Левит,[\[76\]](#), что при очищении прокаженного евреи выпускали птицу на волю. Плиний[\[77\]](#) также рассказывает, что римское лекарство от эпилепсии состояло в том, чтобы вбить гвоздь в землю в том месте, где голова эпилептика ударялась о нее при падении: подобное средство от зубной боли практиковалось во Франции и Германии, а от агонии - в Саффолке.[\[78\]](#) В каждом случае идея заключалась в том, чтобы прибить злое существо и тем самым помешать ему вернуться и причинить неприятности своему бывшему хозяину. История, приведенная Л. Стракерджаном,[\[79\]](#) и процитированная Фрейзером, еще более близка к сути. Во время Тридцатилетней войны мор пришел из Нойенкирхена в Ольденбурге в соседний фермерский дом в виде синего пара и, войдя в дом, проник в дыру в дверном косяке. Фермер взял колышек и забил его в отверстие, чтобы он не выходил. Через некоторое время он вытащил колышек, полагая, что опасность миновала, но голубой пар вырвался наружу снова. Все члены несчастной семьи стали жертвами моровой язвы.

В 348 году до н. э. в Риме снова свирепствовал мор[\[80\]](#), и по указанию сивиллиных книг был объявлен *лектистерний*.

В 331 году до н. э. Рим снова оказался во власти опустошительного мора.[\[81\]](#) Уже погибло несколько членов сената, когда к эдилам пришла женщина-рабыня и объявила, что жертвы умерли от яда. Она показала им матрон, занимающихся составлением ядов, и склад, приготовленный для использования. У двух женщин патрицианского звания, Корнелии и Сергии, были найдены снадобья, и, несмотря на их протесты, что они безвредны, их заставили проглотить их, и они стали жертвами своих собственных гнусных замыслов. Сто семьдесят матрон были вовлечены в их вину и поплатились жизнью. Рим предложил человеческое сожжение духу панического страха.

Мрачное подозрение в отравлении было сформулировано не впервые, ведь афиняне и раньше подозревали лакедемонян в отравлении своих колодцев. Но теперь это обвинение предстало как смертоносное и коварное оружие, готовое к руке каждого бесчестного или недоброжелательного доносчика. Отвратительный перечень жестокостей, которым

подвергались невинные жертвы под воздействием этой иллюзии, составляет мрачную главу в истории эпидемического мора.

Перед лицом очередной эпидемии[82] в 312 году до н. э. диктатор снова был назначен, чтобы вбить гвоздь в храм Юпитера.

Мы видим, что череда эпидемий в Риме почти не прерывается на протяжении четвертого и пятого веков. Мы привыкли думать о римском характере как о воспитанном в школе бесконечных войн, но мы склонны забывать, что был и другой, более суровый и опустошающий враг, почти всегда настороже у ее ворот, "язва, которая ходит во тьме". В вечной борьбе за существование на полях сражений и моровой язвы молодой Рим не находил досуга для более возвышенных занятий человеческого интеллекта, не развил ни литературы, ни искусства, достойных своего имени. Поскольку греки и римляне были детьми одной общей семьи, должны были действовать какие-то сильные постоянные влияния, направлявшие развитие по сильно расходящимся путям: и, возможно, в эпидемическом море, с которым Греция была мало знакома по крайней мере до конца пятого века, мы можем искать один из таких факторов.

В 295 году до н. э., во время свирепой эпидемии, Ливий[83] рассказывает, что сын консула построил храм Венеры рядом с цирком из штрафов, наложенных на некоторых матрон, осужденных за прелюбодеяние, как будто их грех считался его причиной. В Средние века мы также найдем множество церквей, построенных в память об отдельных случаях чумы.

Всего два года спустя жестокий мор[84] заставил магистратов обратиться к сивиллиным книгам, и, повинаясь их указаниям, из Рима в Эпидавр были отправлены послы, чтобы потребовать змею Эскулапия, в которой, как казалось, воплотился бог. Сначала ничего не было сделано, кроме того, что один день был посвящен мольбам Эскулапа. Но в следующем году под руководством Квинта Огульния[85] отправились послы, которые по прибытии в Эпидавр попали в храм Эскулапия и предложили унести все необходимое для спасения города от моровой язвы. После этого змея, которая редко появлялась перед эпидаврами, в течение трех дней появлялась в самых людных местах города, а затем по собственной воле добралась до римской галеры, на которой была доставлена в Антиум, после того как послы были проинструктированы о том, как воздать почести богу. После недолгого пребывания там он снова вошел на римскую галеру, и едва они достигли Тибра, как он поплыл к острову посреди течения, где впоследствии был построен храм в честь Эскулапия. В память об этом событии сохранились монета Коммода[86] и медальон Антонина (см. Plate I, p.4). На острове Тиберина и по сей день можно увидеть на нескольких больших каменных блоках, вытесанных в форме крыши корабля, рельефное изображение головы Эскулапия со змеей, обвившейся вокруг его посоха.

Таким образом, именно мор привел Эскулапия в Рим, как до него привел Аполлона. В этом храме на Тибре ритуал исцеления бога процветал на протяжении нескольких веков, и в ходе недавних раскопок было обнаружено множество votivных эмблем больных частей тела. С небольшими перерывами, и те недолговечные, остров был посвящен целительским работам вплоть до наших дней. Клавдий распорядился, чтобы на острове выставляли больных рабов, а те, кто выздоравливал, получали свободу. Больница Сан-Джованни Калабита, основанная в 1575 году, стоит здесь до сих пор. В 1656 году весь остров был превращен в лазаретто для жертв чумы.

У жрецов Эпидавра был постоянный обычай при основании нового святилища высылать из него одну из священных змей. Павсаний[87] описывает приезд Эскулапия из Эпидавра в Сикион в виде змеи, в повозке, запряженной парой мулов.

Перед тем как Эскулапий был перевезен в Рим, он уже обрел все атрибуты божественности. Он перестал быть простым богом-человеком к тому времени, когда его поклонение достигло Афин из Эпидавра (420 г. до н. э.). Его змеиное происхождение было настолько забыто, что греки объясняли его связь со змеей предположением, что медицина, подобно змее, ежегодно появляется в новом обличье.

При подсчете числа эпидемий, посетивших Рим, Ливий является главным авторитетом, и при этом следует учитывать, что его работа неполна. Сохранились лишь эпитомы к книгам, посвященным годам с 293 по 219 до н. э., а также к книгам с 167 до н. э. до конца его истории в середине царствования Августа. О том, что не прекращались частые повторения моровой язвы, можно с полным основанием судить по регулярности ее появления в те промежуточные годы, о которых сохранились его полные истории.

В 212 году до н. э. Ливий[88] описывает одновременный мор в Сиракузах и в Риме. Римский полководец Марцелл осаждал Сиракузы, когда мор обрушился и на осаждающих, и на осажденных. Карфагенская и сицилийская армии, однако, пострадали больше, чем римляне, которые отступили за стены, чтобы поправить здоровье. Сицилийцы также избавились от болезни, разойдясь по своим городам, но она продолжала бушевать среди карфагенян, которым некуда было отступать. Описание Ливием пренебрежительного отношения к мертвым напоминает описание Фукидида, но сходство выражений не настолько близко, чтобы можно было с уверенностью утверждать, что он заимствовал его непосредственно у Фукидида. Он пишет: "Наконец их чувства настолько огрубели от привычки к этим страданиям, что они не только не провожали своих мертвецов слезами и приличными причитаниями, но даже не выносили их и не хоронили, так что тела умерших лежали разбросанными, открытые взору тех, кого ожидала подобная участь. Таким образом, мертвые служили средством уничтожения больных, а больные - тех, кто был здоров, как страхом, так и грязным состоянием и отвратительным зловонием их тел. Некоторые, предпочитая умереть от меча, даже бросались на вражеские заставы". Ливий вполне мог описывать сцены на улицах Марселя во время чумы 1720 года. Silius Italicus[89] описал эту чуму не хуже Ливия, но его описание - это просто поэтическая картина ее причудливого распространения сначала на собак, затем на птиц, потом на диких зверей и, наконец, на человека.

В 212 году до н. э. были учреждены и *Ludi Apollinares*, но Ливий утверждает, что они были учреждены в честь победы в бою, а не для восстановления здоровья, как принято считать. В данных обстоятельствах одно предположение вряд ли должно исключать другое.

В течение трех полных лет, с 183 по 180 год до н. э., в Риме свирепствовал мор[90], унося с собой и высоких, и низких. Люди увидели в этом знак небесного гнева, и понтифик Максим приказал обратиться к сивиллиным книгам. Позолоченные статуи и подношения были вознесены божествам врачевания - Аполлону, Эскулапию и Гигиее, которая долгие годы в лице Афины стояла на страже здоровья Афин. Теперь мор привел ее в Рим. В городе и окрестностях был устроен молебен, в котором участвовали все старше двенадцати лет; на головах молящихся были надеты чашечки, а в руках они несли ветви лавра, священного для Аполлона. В городе свободно распространялись подозрения в отравлении, и Валерий Антимский рассказывает, что в результате расследования были осуждены две тысячи человек, и среди них Кварта Хостилия, жена консула, умершего от моровой язвы. Столь великолепное искупление должно было умиротворить разгневанных богов.

В 176-175 гг. до н. э. в Риме снова свирепствовал мор. Рассказ Ливия[91] о нем интересен тем, что он утверждает, что, несмотря на огромную смертность среди скота и людей, ни в один из годов моровой язвы не было видно стервятников. Если рассматривать это замечание

в его контексте, то получается, что первыми пострадали грифы, и они были истреблены на месте, затем скот, а потом и человек, а вместе с ним, вероятно, и его собака. Фукидид уже обращал внимание на отсутствие стервятников во время афинской чумы, и с годами это наблюдение превратилось в статью веры, относящуюся ко всем и каждому мору. В случае с чумой Алеппо Рассел определенно опровергает это наблюдение.

С завершением истории Ливия мы вступаем в бесплодный период в истории римской чумы и можем на некоторое время обратиться к некоторым аспектам чумы, представленным в древней латинской поэзии.

ГЛАВА IV

В свою великую поэму "О природе вещей" (*De Rerum Natura*) Лукреций вставил описание афинской чумы, переделав запись Фукидида в латинский гекзаметр. Основной мотив его вступления - показать, что главные явления природы, и чума как одно из них, гармонируют с атомной теорией, которую он перенял у Демокрита и Эпикура. Лукреций действительно предлагает атомарное объяснение моровой язвы, созвучное в основных чертах с доктринами его современника Асклепиада. Мы можем рассуждать о неосязаемом, утверждает он, только исходя из нашего знания о осязаемом. Наши глаза видят, как с неба спускаются облака, а с земли поднимаются вредные испарения в виде тумана. Поэтому наш разум может не без оснований заключить, что мор также либо спускается с небес в виде облаков, либо поднимается с земли, покрытой дождем, в виде тумана. В каждом случае атмосфера пропитывается вредными атомами, которые ее портят. Эти частицы попадают в наш организм либо с воздухом, которым мы дышим, либо с пищей и напитками, которые они загрязнили, и таким образом провоцируют инфекцию. Именно это, по его мнению, стало причиной афинской чумы.

Мнения Лукреция о непосредственных причинах чумы практически совпадают с мнением его современника Диодора Сикула. У каждого из них влага, в виде облака или тумана, загрязняет воздух или портит пищу и таким образом попадает в легкие или желудок. У каждого из них дурной ветер может вызвать мор: у Лукреция - тем, что приносит вредную атмосферу вместо благотворной, у Диодора Сикула - тем, что не охлаждает воздух до нужной температуры, вызывая тем самым лихорадку. По мнению Лукреция, облака, туманы и ветры являются носителями вредных частиц. В этой атомарной теории инфекции он слабо предвосхищает доктрину ядов-частиц, которая занимала поле научных спекуляций на памяти живых людей. Но даже в этом Лукреций был менее близок к истине, чем его великий современник Варро,^[92] который фактически приписывал болезни животных живым организмам, находящимся за пределами человеческого зрения ("*crescunt animalia quaedam minuta, quae non possunt oculi consequi, et per aera, intus per os ac nares perveniunt atque efficiunt difficiles morbos*").

Для Лукреция мор - это чисто природный процесс, в котором нет места промыслу богов. Эту тему, в разных ее проявлениях, он яростно отстаивает на протяжении всей своей поэмы. Возможно, именно по этой причине он выбрал рассказ Фукидида в качестве основы своей поэмы, ведь Фукидид тоже относил эпидемический мор к естественным причинам, а не к

особому действию какого-либо бога. Как и Фукидид, Лукреций без оговорок принимает доктрину заражения:

Qui fuerant autem praesto contagibus ibant Atque labore.

(Те, кто оставался рядом, умирали от заразы и труда).

Чума также дает Лукрецию редкий текст для разоблачения пустого притворства государственного поклонения, которое представляло собой все, что осталось от религии в Риме. Мы видели, как много в римской религии было связано с необходимостью изгнания моровой язвы: мы видели, как народное суеверие оживило ритуал народного искупления. Теперь обращаются к сивиллиным книгам. Теперь в храм Юпитера вбивают гвоздь. Теперь в Рим привозят Аполлона и возводят в его честь храм. Теперь Эскулапий приходит в виде змеи, чтобы освободить Рим: теперь Гигиия. Теперь перед статуями богов приносятся жертвы и устраиваются пиры. Это та ткань, которую Лукреций, охваченный иконоборческим рвением, хотел бы разрушить, но не как враг религии, а как беспощадный враг религиозного притворства.

По литературной форме эта часть великой лукрециевской поэмы значительно уступает остальным. Поэма в целом обладает суровым величием, но эта заключительная часть, сохранив всю суровость, потеряла большую часть величия. Создается впечатление, что она была лишь грубо отлита, чтобы дожидаться полировки, которую из-за преждевременной смерти поэта в 55 году до н. э. она так и не получила. Недостатки можно найти и в литературном содержании, поскольку в некоторых местах он неправильно понимает язык Фукидида и искажает его смысл. Опять же, он то и дело вставляет в записи Фукидида фрагменты Гиппократовы и свои собственные фантазии, как будто все болезни имеют единую клиническую картину. Например, он воспроизводит как *cor* καρδιά Фукидида, которую тот, как и Гиппократ, использовал для обозначения кардиального отдела желудка. Опять же, он неверно интерпретирует Фукидида в отношении влияния болезни на конечности. Он представляет *στερῆσκόμενοι τοῦτῳ* как *ferro privati*, тогда как Фукидид явно имеет в виду, что эти части отслаивались, а не ампутировались. Похоже, что Лукреций владел греческим языком своего времени, но это уже не был греческий язык Фукидида и Платона. Лукреций также не презирает полную свободу, которую Гораций предоставляет поэту, и требования метра иногда заставляют его не придерживаться строго его модели: так, он превращает критические дни в восьмой и девятый. Один длинный отрывок, начинающийся

Multaque praeterea mortis tum signa dabantur

состоит из различных отрывков из Гиппократовы, переложённых на латинский лад. Они собраны из столь разных частей трудов Гиппократовы, что свидетельствуют о значительном знакомстве с ними. Линии лица Гиппократовы воспроизводятся в деталях. Дело в том, что Лукреций больше заботился о живописности, чем о точности описания, при условии, что при этом не нарушалась логическая обоснованность основного тезиса и его дидактическая цель.

В своем изображении мифической чумы, поразившей жителей Эгины, Овидий[93] в равной степени черпает материал у Фукидида, Лукреция и Вергилия, но есть и некоторые черты, которые имеют сильное сходство с Диодором Сикулом. По его рассказу, Минос, второй царь Крита, отправляется в поисках союзников на остров Эгина и безуспешно ищет помощи у его царя Эака. Как только он уехал, Кефал приезжает послом из Афин и получает помощь от Эака, который рассказывает ему о моровой язве, свирепствовавшей на Эгине, и останавливается на ее чудесном повторении. Овидий сохраняет достаточную независимость своих моделей, чтобы мы могли почерпнуть хотя бы что-то из современных представлений о

моровой язве, хотя и в атмосфере античности. Сначала болезнь относили к естественным причинам и боролись с ней с помощью лекарств:

Dum visum mortale malum tantaque latebat Causa nocens cladis, pugnatum est arte medendi.
Exitium superabat opem, quae victa iacebat.

Тенденция заключалась в том, чтобы рассматривать мор как естественный процесс, пока он не переступал привычные ограничения и не бросался с триумфом на ресурсы ортодоксальной медицины. Тогда народное воображение увидело в ней руку бога и тут же вывело ее за рамки признанной патологии. Так, Овидий приписывает Эгинетскую чуму гневу Юноны, потому что остров был назван в честь ее прелюбодейной соперницы Эгины, перенесенной туда Юпитером и ставшей от него матерью Эака, царя Эгины. Но наряду с этим Овидий делает акцент на различных метеорологических явлениях, которые сопровождали или предшествовали моровой язве - земля, окутанная крошечной тьмой, дремотный зной в облаках и постоянные горячие ветры, - как будто он верит в какую-то тесную причинно-следственную связь. Он полагает, что вирус передается через воду, так как фонтаны и озера считались зараженными, а реки - запятанными ядом бесчисленных змей. Он подробно останавливается на эпизоотии, разрабатывая ее гораздо подробнее, чем Ливий, и, в соответствии с привычным характером римской чумы, делает ее предшествующей человеческой эпидемии. Он придерживается доктрины заражения, которое, по его представлениям, передается как от мертвых, так и от живых. Описание Овидием моровой язвы обнажает его мелкую натуру. Он показывает себя не более и не менее чем изящным литературным пустяком. В легком течении его стихов и легких капризах живописного воображения чувствуется беспечность и безразличие к ужасным реалиям, с которыми он обращается. Он не способен, подобно Фукидиду, проникнуть в глубины пафоса, и читатель отворачивается от его каталога страданий, не испытывая ни ужаса, ни тем более сочувствия. Тщетно искать хоть какие-то остатки нравственной серьезности Лукреция. Даже для его божеств источником действия служат низменные человеческие страсти. Каприз и ревность побуждают Юнону насыпать мор: человечество - спорт этих недугов. Когда представление человека о Божественном провидении опустилось так низко, было вполне уместно, чтобы императорский Рим остался без религии.

Манилий в своей *"Астрономике"*, [94], написанной около христианской эры, с уверенностью утверждает, что кометы предвещают мор. Вероятно, это поверье гораздо старше Манилия, хотя трудно привести точные авторитеты. Ливий [95] говорит о ярком свете в небе перед чумой 462 года до н.э.; "coelum ardere visum est plurimo igni": а Дионисий Галикарнасский [96] рассказывает о зажигании огня в небе перед чумой 450 года до н.э.: ἔ.с.: ἐν οὐρανῷ σέλα φερόμενα καὶ πύρρος ἀνάψεις. Подобные аллюзии, казалось бы, означают появление кометы. Вергилий [97] выражается еще более определенно:

Non secus ac liquida si quando nocte cometae Sanguinei lugubre rubent, aut Sirius ardor, Ille sitim morbosque ferens mortalibus aegris Nascitur, et laevo contristat lumine coelum.

Их предполагаемое злое влияние на человеческие дела в целом не вызывает сомнений. Тацит [98] придает им даже политическое значение, поскольку говорит, что в народном мнении они всегда предвещают революцию в королевствах.

Сенека, [99], в своей *"Физической науке"* делает конкретное заявление о том, что "после сильных землетрясений обычно случается мор". О совпадении этих двух явлений ранее упоминали Фукидид, Диодор Сикул, Ливий и другие, но Сенека, похоже, первым попытался определить точную связь одного с другим. Во время кампанских землетрясений 63 г. н.э. недалеко от Помпеи таинственным образом погибло стадо из 600 овец. Сенека полагает, что

землетрясения высвобождают ядовитые испарения, заключенные в земле или скопившиеся в болотах, которые портят воздух. По его мнению, больше всего страдают стада, поскольку они живут под открытым небом, а также пьют воду, насыщенную ядом. Они также кормятся, держа головы близко к земле, и таким образом получают концентрированный яд, прежде чем он успеет разбавиться: "Если бы яд выделялся в большем объеме, он мог бы поранить и человека, но обильный запас чистого воздуха противодействует ему, прежде чем он успеет подняться достаточно высоко, чтобы им мог дышать любой человек". И далее он продолжает: "Лучшее всегда побеждается худшим. Даже чистый небесный воздух сменяется язвой. Отсюда внезапные и продолжительные смерти, а также ужасающие формы болезней, которые возникают по небывалым причинам. Катастрофа длится долго или коротко, в зависимости от силы источников заражения. Чума не прекращается до тех пор, пока свобода неба и шквал ветров не изгонят этот смертоносный воздух".

Сенека, вероятно, наткнулся на истинное объяснение смерти кампанских овец, поскольку Гейки утверждает, что после извержения Везувия выделение углекислого газа приводило к удушью сотен зайцев, куропаток и фазанов. Сенека, в соответствии с мнением ученых своего времени, рассматривает вулканы и землетрясения как тесно связанные между собой явления. Землетрясения считались в основном результатом сильного волнения воздуха. Нибур, как и Сенека, выражал твердую уверенность в том, что землетрясения и извержения вулканов являются причинами моровой язвы, и этот тезис пытались обосновать многие авторы. Даже сегодня заманчиво рассуждать о миграциях крыс, вызванных подземной активностью. Но тщательное изучение достаточного количества землетрясений и эпидемий дает мало оснований для такого предположения. Каждое из них может происходить как до, так и после, вместе с другим или без него, и их частое совпадение в древней истории свидетельствует не более чем о том, что взоры историков были сосредоточены почти исключительно на узком участке земли вокруг берегов Средиземного моря, где землетрясения происходили и происходят, как известно, часто. Через два года после великого землетрясения Кампания была опустошена ураганом, а Рим опустошен мором. Тацит^[100] говорит, что мор уничтожил "все классы людей без какого-либо такого нарушения атмосферы, которое было бы заметно. Однако дома были заполнены трупами, а улицы - похоронами". Тацит безоговорочно утверждает, что мор возникает по естественным, а не по сверхъестественным причинам.

79 год н.э. навсегда запомнился разрушением Геркуланума и Помпеи. За ним последовал мор, который Дион Кассий приписывает пеплу от Везувия. Пыль подозревали с самых отдаленных времен древности. Во время Исхода Моисею было велено посыпать небо пылью. "И превратится она в пыль во всей земле Египетской, и будет кипяток, вспыхивающий огнем на человеке". Ливий и Плутарх приписывают чуму, разразившуюся среди галлов, осаждавших Рим при Бренне, пыли и пеплу сожженных ими домов. Филон также приписывает мор 92 года н.э. горячей пыли, раздражающей кожу.

Дион Кассий^[101] упоминает о чуме, разразившейся в правление Домициана (81-96 гг. н. э.), которая может быть той же, что и у Филона. Некоторые люди, - говорит он, - накололи иглы ядом и принялись за работу, чтобы колоть, кого хотели: несколько уколотых умерли, ничего не зная об этом, но некоторые из негодеев были обличены и наказаны; и это случилось не только в Риме, но и, так сказать, во всем мире". Возможно, некое первоначальное пунктиформное извержение имитировало укол иглой. Вера в распространение моровой язвы путем кожной прививки яда была обречена на процветание в течение многих веков. Сам Дион Кассий^[102] повторяет это утверждение в случае с другой моровой язвой в правление Коммода (187 г. н.э.): "В царствование Коммода случилась самая жестокая болезнь, которую

я когда-либо знал: в Риме часто умирали две тысячи человек за один день. Но многие умирали не только в Риме, но и во всех частях империи другим способом: негодяи, отравляя маленькие иголки некоторыми вредными веществами, передавали болезнь таким образом за плату: это делалось уже в царствование Домициана". В течение трех лет голод и мор рука об руку разоряли Рим, и народ в ярости требовал жертвы. Приятной жертвой стал фригийский вольноотпущенник Клеандр, жадный и бесчестный министр Коммода. С нетерпением распространили слух о том, что Клеандр запасается пшеницей, и обезумевшие жители, прибежав ко дворцу Коммода, стали требовать голову ненавистного фаворита. Император, опасаясь за свою жизнь, по просьбе придворных женщин потребовал, чтобы голова Клеандра была выброшена из дворца на улицу. Зрелище этой кровавой казни утихомирило ярость толпы. По совету своих врачей^[103] Коммод сам поспешно удалился в Лаврентий, чтобы поискать противоядие в аромате обильных лавров. Оставшиеся в Риме закладывали носы и уши сладкими мазями, чтобы нейтрализовать язвенные выделения из зараженных тел и заразной атмосферы. Наконец, римский император обнаруживает, что во время моровой язвы он консультируется - не с сивиллиными книгами, не с оракулами, не с предзнаменованиями, а с врачом - и слушается его указаний. Медицина с запозданием вступила в свои права, и сарказм Плиния о том, что Рим 600 лет процветал без врачей, потерял свое жало. Но мы еще увидим, что время для профессионального возвышения еще не пришло.

Великая антониновская чума - долгая чума, как называет ее Гален, поскольку она длилась не менее пятнадцати лет^[104] - была принесена в Рим с Востока сирийской армией Вера, около 165 г. н.э. Аммиан Марцеллин^[105] относит ее начало к святотатственной глупости некоторых римских солдат при разграблении города Селевкии. Эти люди сорвали с места статую Аполлона, и из узкого отверстия под ее пьедесталом вырвался мор, неся смерть повсюду. Юлий Капитолин (ок. 300 г. н.э.) подтверждает слова Аммиана Марцеллина, за исключением того, что он указывает источник происхождения на маленький золотой сундучок в этом же храме Аполлона. Перенесенная победоносной армией в Рим, она нашла там благоприятные условия для своего распространения в уже существующем голоде, в скоплении солдат и в скоплении зрителей, которые пришли посмотреть на триумф объединенных императоров, должным образом отпразднованный. О смертности в Риме нет никаких данных, но говорят, что она была очень велика. Мертвых тел было так много, что их везли на погребение грудami в телегах. Аврелий^[106] воздал мертвым должное публичными похоронами и воздвиг статуи в память о многих высокопоставленных людях. Его философия, хотя и доказывала несостоятельность религиозной веры, не была защищена от религиозных суеверий. Весь языческий ритуал искупления был проведен от имени смятенного города. Запущенное поклонение богам возродилось с новой силой, а к помощи тех, кто наиболее могущественен, чтобы помочь в таких обстоятельствах, обращались с нетерпением. Для очищения города была торжественно проведена люстрация, и целых семь дней праздновался *лектистерний*. Народ с готовностью заразился суеверием своего государя, и с этого времени можно датировать кратковременное возрождение поклонения устаревшим языческим божествам. Аврелий даже пытался утихомирить гнев национальных богов гонениями на христиан, чья религия была оскорблением их величества. Христианский летописец Орозий,^[107] приписывает моровую язву гонениям на христиан, которые начались в Азии и Галлии перед ее началом. Достоверно известно лишь то, что такое преследование было следствием, если не причиной. Сохранившаяся в Париже гравированная яшма цвета крови, представленная в *"Истории Академии надписей и изящной словесности"*, дошла до наших дней в память о жертвоприношениях, с помощью которых Марк Аврелий пытался отвести чуму. Дюруи^[108] описывает его особенности:

"Марк Аврелий в роли понтифика: на его покрытой вуалью голове глобус, символ его суверенной власти: за ним посох авгура: перед императором Рим в шлеме и Эскулапий с рогами: под Аврелием Гигия или Здоровье: наконец, голова Фаустины. Стрелец, занимающий центр, обозначает время жертвоприношений, приносимых в ноябре или декабре".

Из отрывка Юлия Капитолина некоторые сделали вывод, что Марк Аврелий сам умер от этой язвы в 180 г. н.э. Описывая свое смертное ложе, Капитолин говорит, что он поспешно попрощался с сыном, опасаясь передать ему свою болезнь.

Нибур считает, что античный мир так и не оправился от опустошительного удара этой заразы. С ней он связывает упадок римской литературы и искусства в последующие годы и указывает на аналогичные результаты в Греции от чумы в Афинах, а в ранней немецкой и ранней флорентийской литературе - от Черной смерти 1348 г. н.э. Но семена упадка в Римской империи уже были посеяны, как и в Афинской империи до Пелопоннесской войны. Сам Перикл с самого начала предупреждал афинян о далеко идущих последствиях неудачи. В дальнейшем мы увидим, что в случае с ранней флорентийской литературой в ее временном исчезновении участвовали другие, более мощные влияния, чем мор. Урок, который можно извлечь из всеобъемлющего обзора истории моровой язвы, скорее, заключается в том, что в обществе, как и в отдельном человеке, здоровая конституция отбрасывает последствия болезни, которая наносит удар прямо по дому, когда сопротивляемость ослабевает. Так, несомненно, было в случае с бесконечной чередой чумы, поразившей Рим как в подростковом возрасте, так и во взрослой жизни. Но по мере того как упадок и дряхлость овладевали политическим телом, раны от моровой язвы становились все глубже и оставляли неизгладимые шрамы.

Антониновская чума оставила одно злополучное наследство медицине. У каждого государя есть врачи, которых он заслуживает, и Гален был врачом Марка Аврелия. При первом же приступе моровой язвы Гален отправился в Кампанию и, не найдя там безопасного места, отплыл на корабле в Пергам. Затем, после двухлетнего отсутствия, он вернулся по вызову императоров и после недолгого пребывания в Риме присоединился к ним в Аквилее, где мор снова настиг его.

Трусы умирают много раз до своей смерти.

Однако мужество и врачебная хватка - отнюдь не постоянные спутники, и на протяжении многих веков перед лицом моровой язвы врачи, и среди них Морганьи и Сиденхем, были обречены следовать примеру Галена так же преданно, как и его наставлениям.

Гален в целом считается ведущим авторитетом по медицинским аспектам антониновской чумы, но ценность свидетельства Галена не повышается от исследования сопутствующих обстоятельств. Врач, который в самом начале обращается в бегство, вряд ли впоследствии будет тщательно, постоянно и пристально наблюдать за болезнью: неудивительно, что большая часть его симптоматики заимствована непосредственно у Фукидида или Гиппократов. Поразительная картина Фукидида должна доминировать в сознании человека, изучающего медицину в своем кресле, поэтому мы готовы к тому, что Гален утверждает идентичность антониновского мора с афинской чумой. То тут, то там встречаются отрывки, почти *дословно* заимствованные из Фукидида. Например, Гален^[109] говорит, что на ощупь тело больного не казалось более горячим, чем обычно, но он испытывал нестерпимое внутреннее жжение. Кожа была не желтой, а красноватой и синюшной. Перенос οὔτε χλωρόν из Фукидида показывает, что он копирует Фукидида, а не описывает то, что видел сам. Опять же, описание извержения, хотя и гораздо более точное и полное, чем у Фукидида,

показывает его влияние близко, и время от времени попадает в его реальные слова, как в ἐξήνθησεν ἔλκεσιν ὅλον τὸ σῶμα. То же самое можно сказать и о более общих симптомах[110] болезни, таких как настойчивое указание на характерный вид воспаленных глаз, покраснение рта, языка и слизистых оболочек.

В использовании и защите Галеном армянского бора в качестве антипестицидного средства тоже есть отголоски шарлатанства, что разительно отличается от грубого отрицания всех средств Фукидидом. Гален[111] говорит, что "все, кто использовал его, быстро излечивались" - удивляешься бегству Галена - "те, кто не чувствовал от него никакого эффекта, умирали: никакое другое средство не могло заменить его" - и затем он возвышенно заключает, "что те, с кем средство не помогло, были неизлечимы". Армянский боровик - это всего лишь глинистая земля, привезенная из Персии и Армении, которая своим красным цветом обязана оксиду железа. Гален использовал ее как вяжущее средство для ран и язв, прежде чем перевозносить ее как средство от моровой язвы. Внутри организма, во всяком случае, он должен был быть почти инертным в лекарственных дозах, и поскольку Гален не приводит никаких доказательств в поддержку своего грубого изречения, нам не нужно прилагать усилий, чтобы оправдать наше недоверие.

Есть основания полагать, что антониновская чума не была одной и той же болезнью на протяжении всего ее течения. Если бы это было так, мы должны были бы ожидать от Галена чего-то в виде единой клинической картины, а не случайных упоминаний, разбросанных по его объемным трудам.

Описывая характер высыпаний и их трансформации, Гален[112], несомненно, имел в виду оспу. На определенном этапе высыпания появлялись по всему телу в виде ἐξανθήματα μέλανα (темного высыпания), вероятно, геморрагического типа. При изъязвлении на поверхности образовывался струп (ἐφέλκις), который отделялся, и далее все шло к излечению. После отделения корочки оставался рубец, сравнимый с "питтингом" при оспе. В некоторых случаях изъязвления не происходило, но экзантема была грубой и чешуйчатой и отделялась как кожа: в таком состоянии все проходило. Гален дает некоторое представление о течении болезни у выздоровевшего человека. У одного молодого человека на девятый день все тело покрылось язвами, как и у большинства выздоровевших. Затем его охватил кашель, и через три дня после девятого он был в состоянии отправиться в деревню для выздоровления". На следующий день после того, как начался кашель, во время пароксизма кашля он изверг из себя корку, подобную той, что была при кожных язвах. Гален ранее осматривал его рот и слизистые оболочки и не обнаружил никаких признаков язвы. Он также мог без труда глотать как жидкие, так и твердые продукты. Чтобы определить, идет ли корка из пищевода или нет, Гален ввел струю уксуса и горчицы; по отсутствию боли при этой радикальной процедуре он заключил, что корка должна была идти из гортани, а не из пищевода. Деструктивные язвы гортани были зарегистрированы в редких случаях во время оспы, но такое состояние, безусловно, исключало путешествие в страну по истечении двух дней. Еще менее невозможным это было бы после изгнания дифтеритической мембраны.

Было бы невыгодно следовать за Галеном дальше в описанных им особенностях пестицидной лихорадки, поскольку, как мы уже говорили, совершенно неясно, что это признаки одной болезни. Действительно, если не принимать во внимание свидетельства трудов Галена, то на основании имеющихся у нас сведений о других продолжительных периодах моровой язвы было бы разумно предположить обратное.

Прежде чем оставить Галена, мы можем сказать, что он постулирует двойную причину эпидемий: с одной стороны, большая неравномерность времен года, вызывающая

состояние атмосферы: с другой стороны, витализированное состояние человеческого тела, вызванное загрязненной пищей, что делает его способным к лихорадке от очень незначительных причин. Атмосферный фактор, несомненно, подтверждается всеобщностью заболевания, в то время как большая тяжесть болезни и, возможно, ее особая распространенность среди плохо питающихся и немущих людей, казалось бы, уличает человека в сопротивлении.

Чума 252 г. н.э., во время совместного правления Галла и Хостилиана, соперничала с антониновским мором как по жестокости, так и по продолжительности. Хостилиан был одной из первых жертв, хотя его смерть обычно приписывают руке Галла. Евсевий[113] утверждает, что болезнь уже успела поселиться в Александрии и Египте, прежде чем достигла Рима. В некоторых городах Рима и Греции ежедневная смертность достигала 5 000 человек,[114] и с большей или меньшей силой болезнь распространилась по всему известному миру.[115] Евсевий приписывает моровую язву плесени, занесенной из воздуха, - убеждение, с которым мы еще встретимся в ходе изучения Великой лондонской чумы.

Киприан, христианский епископ Карфагена, оставил нам некоторые подробности о симптомах болезни в своей красноречивой гомилии "De Mortalitate", которой так восхищался святой Августин. Евсевий и Киприан стремятся восхвалять самоотверженное рвение, с которым христиане отдавали свои жизни на служение больным. Их труды помогают нам оценить презрение к страданиям, порожденное в сознании первых энтузиастов христианства постоянным пребыванием в условиях гонений и страха смерти. По тому, как Киприан[116] отдал себя мечу палача, мы знаем, что дух "Sermo de Mortalitate" пронизывал все его существо. В этой проповеди мы до сих пор можем прочесть горячий призыв Киприана к слушателям искать мужества и утешения в покаянии за свои грехи.

Цедрен[117] был настолько впечатлен заразительностью болезни, что считал, что она может передаваться взглядом, как это делал Платон в отношении офтальмии. Требеллий Поллио[118] рассказывает о связи земных и других предзнаменований. Вулканы пробуждались к новой активности: происходили землетрясения и слышался грохот земли: небо потемнело на несколько дней: в земле зияли пропасти: большие приливные волны захлестнули многие города. Казалось, что конец света, предсказанный христианами, близок. В Риме обратились к сивиллиным книгам, которые предписывали легко искупить вину жертвоприношением Юпитеру Салютарию.

Евсевий[119] является главным авторитетом в отношении моровой язвы 302 г. н.э., во время правления Максимиана. Она сопровождалась голодом, так что люди были вынуждены питаться травой, и от голода умерло столько же людей, сколько и от болезней. Голодные собаки дрались за трупы умерших, и люди резали их оптом, чтобы они не сошли с ума и не напали на живых.

ГЛАВА V

До недавнего времени считалось, что до Прокопия (ок. 490-560 гг. н. э.) не существовало никаких достоверных сведений о бубонной чуме. Представляется необходимым пересмотреть это мнение перед лицом фрагмента трудов Руфа Эфесского, сохраненного Орибасием,[120] христианским врачом императора Юлиана (355-63 гг. н.э.). Он пишет: "Бубоны, называемые моровой язвой, наиболее смертельны и остры, особенно те, которые

наблюдаются в Ливии, Египте и Сирии и о которых упоминает Дионисий Курций. Диоскорид и Посидоний много упоминают о них в чуме, которая произошла в их время в Ливии: они говорят, что она сопровождалась острой лихорадкой, болью и прострацией всего тела, бредом и *появлением больших и твердых пузырей*, которые не рассасывались не только в привычных местах, но и в паху и подмышках:' и далее: "Можно предвидеть приближение чумы, обращая внимание на плохое состояние сезонов, на образ жизни, менее способствующий здоровью, и на смерть животных, которая предшествует ее вторжению".'

Считается, что Руф процветал во времена правления Траяна (98-117 гг. н.э.) и, возможно, был его врачом. Диоскорид и Посидоний, вероятно, были александрийскими врачами, процветавшими вскоре после христианской эры. Личность Дионисия Куртуса предположительна, но есть основания полагать, что он занимался медициной в Александрии в третьем веке до н.э. Принимая эти даты, следует признать, что доказательства существования бубонной чумы в эпидемической форме в Северной Африке и Леванте уже третьем веке до н.э. чрезвычайно сильны. Даже если считать, что бубоны встречались чаще, чем в настоящее время при других острых инфекционных заболеваниях, приведенные выше данные вряд ли могут обозначать что-либо иное, кроме бубонной чумы. Упоминание о том, что бубоны чаще возникали в других местах, кроме паха и подмышек, похоже, не получило от медицинских писателей того внимания, которого оно заслуживает.

Мы уже приводили доказательства того, что Гиппократ также был знаком с бубонной чумой в ее спорадической, но, вероятно, не в эпидемической форме. Гален,^[121] тоже обсуждает связь бубонов с лихорадкой таким образом, чтобы показать, что он также был знаком с тяжелой бубонной болезнью, отличной от обычных септических бубонов. Орибасий также знает о бубонных лихорадках, но в целом можно утверждать, что ни Гален, ни Орибасий не проявляют никаких признаков того, что они были известны как распространенная эпидемическая болезнь. Поэтому мы можем с полным правом сказать, что рассказ Прокопия представляет собой первое недвусмысленное описание эпидемии бубонной чумы.

Согласно Прокопию^[122], чума началась в злополучном Пелузиуме, распространилась в одном направлении через Александрию и Египет, в другом - через Палестину, а затем по всему миру, что означало для него от восточных пределов Персии до западных берегов Атлантики. В свете современных знаний вполне вероятно, что Пелусий был не более чем распределительным центром *на пути*, а истинный очаг распространения лежал гораздо дальше вдоль торговых магистралей на восток или юг. Однако о пандемическом характере этого заболевания мы имеем самое полное подтверждение в ряде исторических записей. Евагрий^[123] утверждает, что общая продолжительность пандемии составила пятьдесят два года, и это также можно подтвердить, ознакомившись с прилагаемой таблицей ее смещений, а также с именами представителей власти для каждого населенного пункта.

<i>Дата.</i>	<i>Местность.</i>	<i>Власть.</i>
540 г. н.э.	Антиохия	Евагрий.
а.д. 542	Византия	Прокопий.
н.э. 549 г.	Арль	Григорий Турский.
558 г. н.э.	Византия	Агафий.
н.э. 565 г.	Лигурия	Павел Диакон.
н.э. 567 г.	Овернь	Григорий Турский.
	Нарбонна	Григорий Турский.
587 г. н.э.	Марсель	Григорий Турский.

<i>Дата.</i>	<i>Местность.</i>	<i>Власть.</i>
н.э. 590 г.	Рим	Григорий Турский. Павел Диакон. Иоанн Диакон.
590 г. н.э.	Авиньон	Григорий Турский.
н.э. 591	Страсбург	Осеас Шадеус.

Прокопий описывает чуму как прогрессирующую по определенным этапам, расходящую свою ядовитость на одну страну, а затем переходящую на другую, как бы намереваясь ничего не упустить. Действительно, если вначале она касалась какого-то места слегка, то впоследствии всегда возвращалась к нему, пока не наступала полная мера наказания. Всегда начиная с морского побережья, она распространялась во внутренние районы, так что инфекция в первую очередь явно была занесена морем. Он утверждает, что заразе потребовалось более года, чтобы достичь Византии, где она появилась весной 542 г. н.э. Однако мы знаем от Евагрия, что чума уже была в Антиохии в 540 г. н. э., то есть раньше, чем дата ее предполагаемого появления в Пелузии.

В своих рассуждениях об этиологии Прокопий заимствует много фразеологии Фукидида, но ни здесь, ни в других местах он не показывает ни малейшего признака того, что на него повлияла суть фукидидовского повествования. Фукидид, как мы помним, явно приписывает афинскую чуму естественным причинам, отказываясь рассуждать о том, что могло вызвать такое нарушение природы (μεταβολή).

Прокопий говорит, что те, кто претендовал на знание, приписывали мор вещам, спускающимся с небес (τοῖς ἐξ οὐρανοῦ ἐπισηκίπτουσιν). Это действительно отсылка к примитивным представлениям. Но он добавляет, что они делают это без малейших доказательств, просто ради обмана, приписывая природе то, что явно является творением Бога и ничем иным. Это мнение он основывает на том, что чума не ограничивала свои опустошительные действия какой-либо одной страной, не обрушивалась специально ни на один пол или возраст, а распространялась по всему миру, независимо от времени года и различий в привычках. Этот аргумент, в той мере, в какой он был отрицательным, был, безусловно, сильным в свете медицинских знаний его времени, которые относили большую часть различий между различными болезнями к вариациям климата, почвы, сезона, привычек и других случайных обстоятельств. Не обошлось и без зрительных и слуховых галлюцинаций. Прокопий говорит, что многие, пораженные чумой, видели, бодрствуя или засыпая, видения духов, облаченных в человеческие формы. Некоторым казалось, что они слышат во сне голос, говорящий, что их записали в число умерших. Им казалось, что эти призраки в человеческом обличье ударяют их в какую-то часть тела, и тут же их охватывала болезнь. Чтобы избежать этих демонов, некоторые закрывались в своих домах и ни за что не выходили. Другие пытались от демонов, призывая их самыми священными именами и всячески оправдываясь.

Идея о язвенных демонах, по-видимому, имеет восточное происхождение. Мы уже сталкивались с ней в истории Аполлония Тианского в Эфесе. Она фигурирует в ранней индийской медицине, а также в магометанских преданиях. Магомет, похоже, перенял его непосредственно из магической традиции, воплощенной Зороастром в "Зендавесте". Маги представляли себе единого верховного Бога и Творца вселенной, от которого также исходили два активных принципа, олицетворяемые как Ормузд, принцип или ангел света или добра, и Ахриман, принцип или ангел тьмы или зла, демон. Из этих двух противоположных

принципов была составлена Вселенная, и в управлении ее делами эти два конфликтующих элемента постоянно стремились к господству. Пока ангел света был на высоте, дела людей шли хорошо; но если на какое-то время преобладал демон тьмы, то горе, страдания и грех становились уделом смертного человека. Было неизбежно, что пастухи, пасущие свои стада под звездным небом на равнинах Аравии и на возвышенностях Центральной Азии, должны были увидеть в свете и тьме две враждебные личности, доминирующие над их существованием, к лучшему или к худшему.

Магометане верили, что духи были посланы Богом, вооруженным луком и стрелами, чтобы распространять чуму в наказание за грех. Призраки черного цвета наносили смертельные раны, а раны, нанесенные белыми призраками, не были смертельными. Вскоре мы увидим, что эта же фантазия присутствует в литературе и искусстве средневековой Италии. Небезынтересно проследить, как эта концепция распространяется, подобно чуме, из эндемического очага на Востоке, сначала в Византии, а затем медленными этапами в Италии и на Западе.

В Византии многие умирали от болезни без каких-либо предчувствий. В этих случаях внезапно начиналась легкая лихорадка без каких-либо серьезных симптомов, так что у жертвы не было опасений, что она умрет. Затем либо в тот же день, либо через день или два появлялся бубон (βουβών), либо в паху, либо в подмышке, либо за ухом, либо в другом месте. По этим симптомам все страдали практически одинаково. Таким образом, византийская чума была характерно бубонной, а бубоны, похоже, были распределены по различным частям тела, как и в наши дни. В этом и во всех других существенных аспектах бубонная чума по-прежнему демонстрирует поразительное соответствие картине, нарисованной Прокопием около 1 400 лет назад. Действительно, Прокопий дал восхитительный набросок восточной чумы, к которому новейшая медицинская наука мало что добавила, кроме некоторой проработки деталей. Мы можем расшифровать в его повествовании по крайней мере четыре признанных типа - бубонную, гнойную, пневмоническую и тонзиллярную - как преобладавшие во время эпидемии в Византии. В отличие от Фукидида, Прокопий отвергает идею заражения в противовес своим собственным наблюдениям. По его опыту, врачи, медсестры и те, кто хоронил мертвых, не были особо подвержены заражению, несмотря на их постоянный контакт с больными; и наоборот, многие заражались без всякого контакта. Вера Прокопия в то, что мор - это особое действие Бога, почти вынуждала его быть неконтагиозным. Он был в растерянности, списать ли разнообразные проявления болезни на различия в конституции или на волю Автора чумы. В одном случае преобладала глубокая летаргия, в другом - маниакальный бред. Вялые лежали, не обращая внимания ни на что, и умирали от голода, если им не давали еду. Бредовые в своем ужасе пытались бежать: они боролись с обслуживающим персоналом, пытались выброситься из окон или утопиться. Их желание не было направлено на утоление жажды, поэтому они часто бросались в море. Это, очевидно, критика предположения Фукидида, что именно жажда побуждала жертв бросаться в цистерны.

Прокопий говорит, что врачи считали, что источник болезни кроется в бубонах. Это было неестественное предположение, поскольку в случаях простого нагноения бубона страдалец обычно выздоравливал, как будто через этот канал выходило немного вирулентной влаги. По этой же причине в последующие годы при любой возможности производилось иссечение и поощрялось нагноение. Однако когда врачи вскрывали пузыри в надежде обнаружить причину, они не находили ничего, кроме ужасного нароста, похожего на карбункул (ἄνθραξ). Византийские врачи, очевидно, рассматривали это заболевание как болезненный процесс в рамках общепринятой патологии.

Существовал пустулезный тип заболевания, и те, у кого по всему телу появлялся урожай черных пустул размером с чечевицу, сразу же умирали. Прокопий в своем *φλυκταίναις μελαίναις, ὅσον φακοῦ μέγεθος, ἐξήνθει τὸ σῶμα* повторяет язык Фукидида, *ἄφλυκταίναις μικραῖς καὶ ἔλκεσιν ἐξηνηθός*: и примечательно, что язвы не были характерны для византийской чумы.

Многие умерли от спонтанной рвоты кровью, вероятно, из легких, как это нередко бывает при пневмонической форме чумы.

Некоторые спаслись с дефектом речи, так что до тех пор, пока они жили, они заикались или запинаясь и были неразборчивы. Это вполне могло быть продолжением тонзиллярного типа.

Эпидемическая чума продолжалась в Византии в общей сложности четыре месяца, а ее пик пришелся на три. Это, если говорить в целом, было характерно для большинства европейских и левантйских вспышек. В худшем случае ежедневная смертность достигала ужасающей цифры в десять тысяч человек.

Прокопий подробно останавливается на скоплении мертвых тел на улицах и пренебрежении погребальными обрядами. Сначала каждый человек хоронил умерших членов своего дома, иногда бросая их в могилы, приготовленные для других; но вскоре погребальщиков не стало, и трупы стали засорять улицы. Юстиниан поручил хоронить их своему агенту Теодору. Когда все существующие усыпальницы были заполнены, по всему городу стали рыть огромные могильные ямы, где только можно было найти место. Наконец, когда рытье могил уже не поспевало за смертями, они поднялись на башни городских стен в Сикее, порту Византии, и, сняв крыши, беспорядочно бросали туда тела: когда они заполнялись, крыши заменялись. Но когда ветер дул из этого квартала, ужасное зловоние доставляло горожанам массу неудобств. Многие трупы просто выбрасывали на берег, где их складывали в баржи и отправляли в море. Мы увидим, как эти различные условия поразительно воспроизводятся во время чумы в Марселе в 1721 году. Иоанн Эфесский утверждает, что скорые меры, принятые Юстинианом для погребения мертвых, отвечали всем требованиям, но невозможно принять его утверждение перед лицом точного и подробного рассказа Прокопия.

Ужасы чумы, по словам Прокопия, обращали людей от распущенности к благочестию из-за страха, что их собственная смерть неминуема. Если же они заболевали и выздоравливали, то становились еще более распущенными, чем прежде, в уверенности, что теперь им ничто не угрожает в будущем. По словам Фукидида, афинские греки с самого начала стали безрассудными и предавались удовольствиям, видя, что болезнь поражает и добродетельных, и порочных. Возможно, однако, что разница заключалась скорее в душевном настрое наблюдателя, чем в реальном поведении тех, кого он наблюдал.

Все работы в Византии остановились, и в городе, где обычно все было в изобилии, наступил голод. Сам Юстиниан заразился и перенес приступ, во время которого появился бубон.

Таков вкратце рассказ Прокопия о чуме в Византии, которую он видел своими глазами. Несомненно, перед ним было описание афинской чумы, поскольку то и дело он впадает в идентичные обороты речи. Но говорить о нем как о вопиющем плагиаторе Фукидида - чистейший абсурд. Скорее создается впечатление, что он сохраняет критическое отношение к Фукидиду и подчеркивает моменты несогласия. Прокопий не сомневается, что описывает ту же болезнь, что и Фукидид, и впечатлен замеченными им клиническими различиями. Тон Фукидида субъективен: он пытается дать общее описание, но не может удержать на заднем плане симптомы своего собственного случая. Тон Прокопия полностью

объективен: он пишет как глубоко заинтересованный наблюдатель, передавая свои собственные наблюдения, дополненные высказываниями тех, кто перенес болезнь и выздоровел. Кажущееся сходство этих двух рассказов на самом деле не более чем поверхностное.

Рассказ о начале этой пандемии в Антиохии сохранился от пера историка Евагрия,^[124] который родился в 536 году н.э. и провел большую часть своей жизни в Антиохии. Судя по всему, он ничего не знал о записях Прокопия или Агафия, поскольку, по его словам, история этой эпидемии ранее не была написана. Он знал рассказ о чуме в Афинах, поскольку, по его словам, эта чума "в некоторых отношениях была очень похожа на ту, которую описал Фукидид, а в других - совсем не похожа": нельзя сказать, что это повлияло на форму или содержание его описания. Он говорит, что впервые она достигла Антиохии в 540 г. до н. э., тогда как в Византии она появилась только весной 542 г. до н. э., и что пандемия продолжалась в общей сложности пятьдесят два года, превысив "все болезни, которые когда-либо были до Филострата, который удивлялся чуме, которая была в его время, потому что она продолжалась пятнадцать лет". Предполагается, что это был мор при Антонинах, поскольку Филострат родился на Лемносе около 170 г. н. э., но большую часть жизни провел в Риме и умер там в 245 г. н. э. Евагрий имел полную возможность наблюдать чуму вблизи, так как, будучи мальчиком в школе, сам пострадал от пахового бубона, а в более поздние годы потерял от чумы жену и нескольких детей. Ему было всего три года, когда чума впервые достигла Антиохии, так что его описание должно отражать болезнь после того, как она свирепствовала в течение многих лет. Евагрий прослеживает ее происхождение дальше, чем Прокопий, помещая ее в Эфиопию, так что на самом деле она могла возникнуть в эндемичной области в Центральной Африке. Распространившись по всему миру, он нападал на города независимо от времени года, как летом, так и зимой. Евагрий не сомневается в заразности этой чумы. По его словам, те, кому удавалось спастись в один год, подвергались нападению в следующий, а те, кто бежал в места, свободные от болезни, первыми погибали, так как уносили заразу с собой. Заразиться можно было разными путями - через общие кровати, при фактическом контакте, посещении зараженных домов или даже при случайной встрече на рынке. Однако некоторым удавалось спастись, несмотря на все риски заражения.

Описание симптомов болезни, которое дает Евагрий, хотя и краткое, но удивительно полное. Оно показывает, что ему были известны тонзиллярный, бубонный и карбункулярный или пустулезный типы, а быстрота летального исхода в части случаев позволяет предположить, что были распространены также пневмоническая и септицемическая формы. "Болезнь, - пишет он, - была сложной и смешанной со многими другими недугами. Некоторых людей она захватывала сначала в голову, делала их глаза красными, как кровь, и надувала им щеки: затем она обрушивалась на их горло, и кого бы она ни захватывала, она отбрасывала его с дороги. У одних она начиналась с пожара и опорожнения всего, что было в них, у других - с опухания тайных частей тела, и возникали горящие костры, так что они умирали от нее в течение двух или трех дней от самого дальнего в таком виде и с таким совершенным беспамятством, как будто и не болели вовсе; иные умирали в безумии, и карбункулы, возникавшие из плоти, убивали многих".

Агафий^[125] (р. н. э. 536) описывает повторение этой пандемии в Византии в 558 г. н. э. Он продолжил историю Прокопия от ее окончания до 558 г. н.э. Он говорит, что болезнь никогда не исчезала со времени первой вспышки в 542 г. н.э., когда она вспыхнула во второй раз весной этого года. Многие люди падали, словно пораженные апоплексией: те, кто держался дольше всех, умирали на пятый день. Как и во время предыдущего визита, отличительными чертами были бубоны и непрерывная лихорадка. Люди всех возрастов погибали без разбора,

но особенно молодые и энергичные, а также те, кто был в расцвете сил, и среди них мужчины, поскольку женщины не так сильно пострадали". При повторении эпидемии, подобной этой, основное число жертв неизбежно приходится на молодых людей, которые не смогли противостоять предыдущему приступу или приобрести иммунитет к нему. Характер их занятий или образ жизни, несомненно, объясняет особую подверженность мужчин инфекции.

Григорий Турский[126] (540-94 гг. н.э.) свидетельствует о широком распространении чумы во Франции. В 549 г. он говорит, что она обезлюдела в провинции Арль, а затем опустошила Нарбонну. Здесь Феликс, епископ Нанта,[127] скончался от рассасывания ног, вызванного наложением кантаридных пластырей на гнойники.

В 566 году н. э., перед тем как чума вторглась в Овернь,[128] череда предзнаменований наводила ужас на округу. Три или четыре больших ярких светила появились вокруг солнца, которое, тем не менее, претерпело почти полное затмение в октябре и выглядело темным, обесцвеченным и похожим на мешок. Небо также казалось охваченным огнем, и наблюдалось множество странных знамений. Затем в 567 году эпидемия охватила всю округу, вызвав огромную смертность. Лион, Бурж, Шалон и Дижон также потеряли значительную часть своего населения. Гробы для умерших вскоре пришли в негодность, и в одну могилу помещали до десяти тел. В одно из воскресений в церкви Святого Петра в Клермоне насчитали не менее трехсот трупов. Смерть настигала жертв с драматической внезапностью. В паху или подмышкой вырастало поражение в форме змеи, эффект которого был таков, что люди отдавали свои души на второй или третий день, а его жестокость полностью лишала их чувств".

Очевидно, что во время этой эпидемии бубоны чаще всего появлялись в паху, поскольку Григорий неоднократно говорит о болезни как о *lues inguinaris* или *morbis inguinalis* и т. п.

В 587 году н.э. в Марселе[129] вспыхнула чума, завезенная туда торговым кораблем из Испании, который скрыл свой контакт с портом, охваченным чумой. Несколько человек сделали на нем покупки, в результате чего восемь жителей одного дома были смертельно заражены. Как и в случае с эпидемией 1720 года, болезнь не распространилась сразу на весь город. Епископ Теодор и несколько его приближенных закрылись в церкви святого Виктора и там, среди всеобщего запустения, молили Бога о милости, молясь и бдя, пока эпидемия не закончилась. По возвращении беглых жителей запоздалая вспышка взымала свою дань.

Вокруг Авиньона[130] небесные знамения предвещали чуму, которая разразилась в 590 году н.э. Ночью землю озарил свет, такой же яркий, как в полдень. Ночью в небе были замечены огненные шары. В середине июня на рассвете произошло сильное землетрясение. В середине августа произошло почти полное затмение солнца. Обильные осенние грозы и дожди подняли реки в половодье.

В это время в Италии тоже происходили подобные события. Павел Диакон[131] (720-90 гг. н. э.) вкратце рассказывает о чуме, которая опустошила Лигурию в 565 году. Он говорит, что предвестником чумы было внезапное появление следов на домах, дверях, утвари и одежде, и чем больше их пытались стереть, тем заметнее они становились. Евсевий[132] подобным образом рассказывает о плесени на стенах домов во время предыдущего мора, а в книге Левит[133] мы читаем о зеленоватых и красноватых отметинах на домах, зараженных проказой. К концу года на людей начали нападать бубоны, а затем началась лихорадка, от которой умирали за три дня. Жители бежали, оставляя имущество, скот и урожай, и воцарилось запустение.

Но именно на голову незадачливого Рима суждено было обрушиться всей ярости уходящей бури. Григорий Турский^[134] и Павел Диакон оставили свидетельства о разрушениях. Григорий говорит, что получил информацию от своего собственного диакона, который в то время находился в Риме. Павел Диакон^[135], похоже, заимствует свои материалы у Григория Турского. Наводнение на Тибре в 589 году н. э. привело к разрушению многих старых зданий на его берегах и затоплению церковных амбаров, так что огромные запасы зерна были испорчены. В реке водилось множество змей, а дракон необычайных размеров проплывал через город, направляясь к морю. Вероятно, это были угри с илистого дна Тибра, превратившиеся, по примеру Овидия, в змей: дракона, похоже, никто не видел вблизи. После наводнения в 590 году н. э. последовала сильная вспышка бубонной чумы (*pestilentia, quam inguinarium vocant*).

Предчувствия не ограничивались Римом. Согласно Евагрию,^[136] сильное землетрясение в 589 году привело к разрушению Антиохии, уничтожив святилище Богородицы и унеся шестьдесят тысяч жизней. В Верхней Италии также были обширные наводнения, вызванные разливом горных потоков в Венеции, Лигурии и на субальпийских равнинах.

Поучительно сравнить записи этих летописцев Западной церкви с записями Прокопия и Евагрия, а тем более с записями языческого историка Фукидида. Они так сосредоточены на психических и моральных особенностях этой болезни, что почти ничего не говорят о ее физических признаках. Они подробно рассказывают о видениях и галлюцинациях, преследовавших смятенную фантазию страдальцев, которые Фукидид оставляет без внимания, хотя они должны были сопровождать дикий бред, который он описывает. Демоны, преследующие по улицам, неизгладимые следы и слепки на домах, голоса из могилы и небесные предвестия - все это было творением бредового воображения, и оно точно воспроизведено на страницах христианских писателей. Можно почувствовать что-то от духа, в котором Фра Анджелико изображал радости рая и муки ада, когда мор обрушился на средневековую Италию. Смертность в Риме была ужасающей. Смерть свирепствовала повсюду. Сначала трупы собирали и грудami сбрасывали в огромные зияющие могилы, но через некоторое время не осталось никого, кто бы мог похоронить умерших, и гниющие трупы замусорили улицы. Все дела застопорились, а те, кому удалось выжить, в панике забились, как овцы, в надежные убежища церквей. К всеобщему смятению добавилась смерть папы Пелагия 8 февраля 590 года н.э. Выбор преемника возлагался на духовенство и народ Рима при условии утверждения императором. В ожидании императорского одобрения они единодушно возвели аббата Григория из уединения его монастыря на понтификальную кафедру. Григорий Турский, Павел Диакон и Иоанн Диакон рассказывают о нежелании Григория подчиниться вызову и о его попытке перехватить письмо об избрании на пути к императору в Константинополь. Но тем временем, поскольку чума не проявляла никаких признаков ослабления, Григорий решил попытаться утихомирить гнев Божий особым актом раскаяния. Взойдя на кафедру Святого Иоанна Латеранского, он произнес памятную проповедь, которая сохранилась благодаря руке Григория Турского. Он умолял их сделать свои страдания орудием обращения и средством, смягчающим черствость их сердец. Он просил их, как Киприан до него, как Борромео и Белсунн впоследствии, не допустить, чтобы внезапность, с которой смерть настигала их, унося за раз множество людей и не давая возможности для слез покаяния, застала их неподготовленными к встрече с Богом. Пусть они вспомнят о своих грехах и очистят их плачем, ибо Бог не желает смерти грешника, но хочет, чтобы он обратился от своего зла и жил. Пусть никто не отчаивается из-за множества своих преступлений. Разве не простил Бог в древности жителей Ниневии, когда они три дня совершали покаяние, и разве не дал Он награду вечной жизни умирающему разбойнику? Пусть они вместе с ним обратятся к Богу с настойчивой молитвой, иначе на них когда-нибудь

обрушится меч наказания. Не говорит ли Он устами псалмопевца: "Призови Меня во время бедствия: и Я услышу тебя, и ты прославишь Меня". Пусть все они придут с раскаянными сердцами и исправленными настроениями на ранней заре в четвертый день от этого дня на празднование семикратной литании и с плачем в душе, чтобы суровый Судья отменил приговор проклятия, который Он намеревался вынести им. Пусть духовенство отправится из церкви святых мучеников Космы и Дамиана вместе со священниками шестой области. Все аббаты со своими монахами - из церкви мучеников Гервасия и Протасия, вместе со священниками четвертой области. Все настоятельницы со своими паствами из церкви святых мучеников Марцеллина и Петра, вместе со священниками первой области. Все дети из церкви святых мучеников Иоанна и Павла, вместе со священниками второй области. Все миряне из церкви протомученика Стефана вместе со священниками седьмой области. Все вдовы из церкви святой Евфимии, вместе со священниками пятой области. И замужние женщины из церкви святого мученика Климента, вместе со священниками третьей области. Пусть все они выйдут из этих церквей с молитвой и плачем, чтобы встретиться в базилике Пресвятой Девы Марии, Матери Христа, и там с долгой и искренней мольбой просить прощения за свои грехи".

Григорий распределил остатки, пощаженные чумой, по семи церковным областям Рима, повелев духовенству провести трехдневный перерыв в непрестанных псалмах и молитвах о милосердии. А на четвертый день, в праздник святого Марка, в бледном свете раннего апрельского утра отправилась великая процессия. Под торжественное пение скорбного "*Miserere*" эти семь поездов человеческих страданий медленно и печально пробирались среди разрушенных памятников древнего Рима. Ни один звук не нарушал тишины, кроме слабого шелеста подметаемых одежд и тихого шарканья ног больных. То и дело кто-то падал, пораженный, и лежал так же, как и упал, потому что смерть перемещалась туда-сюда среди движущихся рядов.^[137] Не менее восьмидесяти человек ушли из жизни, прежде чем была достигнута церковь Богородицы. Там Григорий снова горячо увещевал народ к покаянию, чтобы чума прекратилась.

По преданию, когда Григорий во главе покаянного отряда дошел до Аэлийского моста, прямо перед ним, на вершине Адрианова мола, предстало небесное видение. Там стоял архангел Михаил, возвращая пылающий меч в ножны в знак того, что чума остановлена. Именно этой легенде мавзолеем обязан названием Castel S. Angelo, которое он носит по крайней мере с X века. Бронзовая фигура архангела в ножнах с мечом до сих пор висит на вершине, пятая из целой серии, стоявших здесь в разное время.

Легенда об ангеле не упоминается ни одним из биографов Григория, дьяконами Павлом и Иоанном, ни Бедой, ни Григорием Турским. Хотя она имеет более раннее происхождение, чем десятый век, первые письменные упоминания о ней содержатся в немецкой проповеди двенадцатого или тринадцатого века, а в *Legenda Aurea* конца тринадцатого века Кэкстон перевел ее следующим образом:

И поскольку смертность не прекращалась, он назначил шествие, в котором нес образ Богоматери, который, как говорят, сделал святой Лука Евангелист, который был хорошим художником, он вырезал его и написал по подобию славной Девы Марии. И вскоре смерч прекратился, и воздух стал чистым и прозрачным, и около образа раздался голос ангелов, которые пели этот гимн:

Regina Coeli laetare! Аллилуйя. Quia quem meruisti portare: Аллилуйя. Resurrexit sicut dixit: Аллилуйя.

и святой Григорий добавляет к этому

Ora pro nobis, deum rogamus: Аллилуиа.

В то же время святой Григорий увидел ангела на замке, который очистил меч от крови и вложил его в ножны, и таким образом святой Григорий понял, что мор этой смертности миновал, и после этого его стали называть замковым ангелом".

В память об этой легенде великие процессии из Сан-Марко, вплоть до запрета процессий в 1870 году, запевали антифон "Regina Coeli", как только подходили к мосту Адриана.

Для поиска истинного источника этой легенды не нужно искать дальше видения ангела на гумне Арауны: "И поднял Давид глаза свои, и увидел Ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным мечом в руке, простертым над Иерусалимом". В Капитолийском музее находится алтарь, посвященный Исиде каким-то путешественником после его благополучного возвращения, на котором, как правило, отпечатаны две ступни. Благочестивые люди считали, что это следы ангела, явившегося Григорию, и алтарь когда-то стоял в церкви Ара Коэли.



ГРИГОРИЙ И АНГЕЛ

Фотография Жиродона, Париж

Несомненно, что по крайней мере уже в это время картины несли в общественных процессиях. Теофилакт^[138] описал два случая, когда священное чучело Христа, которое, как считается, не было сделано руками человека, несли в бой, чтобы вдохновить солдат на доблесть и дисциплину (586 и 588 гг. н.э.). Среди многих жемчужин, которыми изобилует "Экклезиастическая история" Беда^[139], есть картина прибытия Августина и его спутников в Танет "с серебряным крестом на знамени и образом Господа и Спасителя нашего, начертанным на доске" (н. э. 597). Летописец XVI века Бароний утверждает, что изображение, которое Григорий нес в этой чумной процессии 590 года, было изображением Мадонны, которое сейчас хранится в церкви Санта Мария Маджоре на Эсквiline, и до сих

пор считается, что оно защищает Рим от чумы и моровой язвы. В Риме есть не менее четырех изображений Мадонны, приписываемых, как и это, руке Луки Врача, и все они, как считается, обладают чудотворной силой. Экспертное мнение, увы, считает, что самая старая из них относится к XV веку.

Шествие Григория стало излюбленной темой для искусства. Ей посвящена одна из фресок в Леди-часовне Винчестерского собора, выполненная под руководством настоятеля Силкстеда в начале XVI века. Эта сцена также изображена на картине в церкви Сан-Пьетро в Перудже, на современной картине австрийского художника Хиреми Хирша и на нескольких других картинах в других местах. Миниатюра, изображенная на противоположной странице, - одна из двух из прекрасной "Книги желаний" начала XV века, которая когда-то принадлежала герцогу де Берри. Сейчас она хранится в музее Конде в замке Шантийи.

Итальянская традиция относит обычай говорить "Благослови тебя Бог", когда человек чихает, ко времени моровой язвы Григория, во время которой, как говорили, умирали все чихавшие. Бурш, ссылаясь на местные хроники Клейнлауэля и Осеаса Шадеуса, считает, что этот случай восходит к чуме в Страсбурге в 591 году н.э.^[140] И когда кто-либо чихал, он сразу же становился призраком. Отсюда и поговорка "Бог в помощь". И когда кто-либо зевал, он умирал. Отсюда и пошло, что когда кто-либо зевает, он делает крестное знамение перед ртом". Вероятно, эта ассоциация еще более древняя, поскольку Фукидид говорит о чихании во время чумы в Афинах. Чихание и зевота были характерными признаками потогонной болезни.



FRESCO IN S. ПЪЕТРО ИН ВИНКОЛИ, РИМ

Фотография Андерсона, Рим

ГЛАВА VI

Летом 680 года н. э. Рим снова охватила страшная чума, охватившая большую часть Италии. Павел Диакон^[141] рассказывает, что за затмениями солнца и луны в мае последовал мор в июле, августе и сентябре. Описывая его опустошения в Тицинуме (Павия), Павел говорит, что "число умерших было так велико, что родителей часто несли хоронить на одних бирах с детьми, а братьев вместе с сестрами..... И тогда многие видели своими глазами доброго и злого ангела, проходившего ночью по городу. И всякий раз по велению доброго ангела злой, который, казалось, нес в руке копье, столько раз ударял своим копьем в дверь каждого дома, сколько человек из этого дома умрет на следующий день. Затем кому-то стало известно, что чума не прекратится, пока в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи не будет установлен алтарь в честь Себастьяна, святого и мученика. Это было сделано, и как только алтарь был установлен, из Рима привезли мощи святого мученика Себастьяна, и сразу же чума прекратилась".

Павел Диакон, вне всякого сомнения, имел в виду церковь [Сан-Пьетро-ин-Винколи](#) в Павии, но римляне более позднего времени утверждали эту легенду для своей одноименной церкви, в которой она была воплощена во фреске XV века, приписываемой Поллажуоло (1429-98). На заднем плане, на вершине лестницы, предположительно навеянной лестницей Ара Козели, горожанин рассказывает папе Агато, сидящему среди кардиналов, свой сон о том, что мор не прекратится, пока тело святого Себастьяна не будет принесено в город. Справа добрый ангел указывает осужденные дома злему ангелу в облике Лукавого, который бьет в дверь копьем. Слева процессия, несущая знамя, на котором изображена Мадонна в защищающей мантии, вносит мощи. Передний план усеян трупами умерших. В небе, с луком в руке, парит ангел, распространяющий мор. Слева - группа Всевышнего и ангелов, ныне почти стертая.

Не принято считать, что известная картина Делоне (1828-91 гг.) "Болезнь в Риме", хранящаяся в Люксембургском музее в Париже, была написана непосредственно по мотивам этой фрески. Сцена написана на одной из улиц Рима, усыпанной телами умерших и умирающих, среди которых добрые и злые ангелы заняты своими делами. Фигура юноши, закутанного в коричневую шаль на пороге дома, - живая картина несчастья. На заднем плане по лестнице спускается процессия с крестом, а на открытой улице горит костер для очищения атмосферы. Чучело Эскулапия и колоссальная конная статуя Константина выполнены в манере эпохи Возрождения. Главное достоинство картины заключается в совершенстве ее рисунка.

В этой же церкви в Риме находится мозаичное изображение Себастьяна, которое, как считается, было выполнено в 683 году н.э. Однако, несмотря на имя Себастьяна, выбитое золотыми мозаичными буквами, трудно поверить, что это не что иное, как фигура святого Петра, преобразованная, возможно, в присутствии эпидемии в фигуру Себастьяна. Она точно передает традиционные черты апостола, старика с белыми волосами и бородой, одетого в истинно византийском стиле. Куглер считает, что тщательное затенение драпировки, выполненное с большей, чем обычно, тщательностью, указывает на то, что чучело предназначалось для пристального взгляда благочестивых людей. Фигура на голубом мозаичном фоне неподвижна и нежива, даже по сравнению с другими подобными архаичными чучелами. Рядом с ней на мраморной доске выбита надпись на латыни, воспроизводящая почти дословно историю, рассказанную Павлом Диакonom. По преданию, папа Агато (678-82 гг. н.э.) по этому случаю приказал собрать кости святого на кладбище Каликста и перенести их в церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи, где они были помещены под алтарем. В девятом веке тело, по-видимому, было перевезено в Ватикан для сохранности, а

затем вновь перенесено в церковь Сан-Себастьяно, где оно находится сейчас, Гонорием III в 1216 году. Эта церковь, однако, была полностью перестроена в 1611 году.



ТАБЛИЧКА VI LA PESTE À ROME.ДЕЛОНЭ

Фотография Жиродона, Париж (Лицевая сторона стр. 96)

Со времени этой моровой язвы в 680 году н. э. Себастьян был повсеместно признан святым покровителем моровой язвы. Постепенно его стали отождествлять с настоящей чумой, но никогда не в такой исключительной манере, как его брата, святого Роха. Его всеобъемлющее покровительство моровой язве указывает не только на то, насколько распространены были другие эпидемические заболевания, помимо истинной чумы, но и на то, как мало они различались в общественном сознании.

История жизни Себастьяна^[142] хорошо достоверна в своих основных событиях. Он родился в середине III века н. э. и был уроженцем Нарбонны в Галлии. Знатное происхождение обеспечило ему в начале жизни командование ротой преторианской гвардии, так что он постоянно находился при особе императора. Хотя втайне он был христианином и использовал свое положение для обращения других в христианство, он оставался глубоко предан временным интересам императора. Среди его друзей были два молодых солдата, Марк и Марцеллин, как и он, знатного происхождения. Их осудили за принятие христианства и, мужественно выдержав пытки, вывели на смерть. По дороге их престарелые родители, жены и дети, друзья умоляли их раскаяться, и они уже собирались отречься, когда Себастьян бросился вперед и увещевал их не отречься от своего Искупителя. Его призыв был настолько вдохновляющим, что все собрание, стражники, судьи и прочие, обратились и крестились, и на некоторое время Маркус и Марцеллин были спасены. Эта сцена изображена на ярком полотне Веронезе в чумной церкви Сан-Себастьяно в Венеции. Передышка была недолгой: через несколько месяцев они были преданы смерти вместе со

многими другими членами христианской общины, а сам Себастьян был приговорен к смерти. Император Диоклетиан (284-305 гг. н.э.), по причине личной привязанности, послал за ним и увещевал его отречься от ереси, но Себастьян кротко и мужественно отказался. Тогда Диоклетиан приказал привязать его к колу и забить стрелами до смерти, а на колу сделать надпись, чтобы все видели, что он был предан смерти только за то, что был христианином. На огромном количестве картин, помимо шедевра Содомы,^[143] изображена эта сцена. Пронзенный стрелами, Себастьян был оставлен умирать, но в полночь Ирина, вдова одного из его друзей-мучеников, пришла забрать его тело для погребения, но нашла его еще живым, стрелы не пронзили ни одной жизненно важной части. Она и ее помощницы отнесли его в свой дом и ухаживали за ним, пока он полностью не исцелился. После этого они убеждали его покинуть Рим, но Себастьян смело подошел к дворцовым воротам и, когда император выходил из них, просил за христиан, осужденных на страдания за веру, и упрекал Диоклетиана в жестокости. Император в яростном гневе приказал своим стражникам схватить Себастьяна и отнести в цирк, где забить его до смерти дубинками. Чтобы скрыть его мертвое тело от друзей, его бросили в Клоаку Максима, но одна христианка, Луцина, получила в видении весть о том, где лежит тело, и, найдя его, тайно похоронила в катакомбах. Сейчас над этими катакомбами построена церковь Святого Себастьяна в Риме.



СЕБАСТИАН КАК ЗАЩИТНИК ОТ МОРОВОЙ ЯЗВЫ

Автор Беноццо Гоццولي. Фотография Броги, Флоренция

Хотя Себастьян принял мученическую смерть в 288 г. н.э., его культ как защитника от моровой язвы утвердился лишь после чумы 683 г. н.э.

Ассоциация Себастьяна с мором вначале была чисто случайной. Благочестивые люди в периоды моровой язвы были склонны провозглашать своего особого святого покровителя весьма ощутимой помощью во время беды: алтарь, церковь, вотивная картина, процессия -

то один, то другой - такова была цена обещанного избавления. Но то, что Себастьян стал покровителем чумы и моровой язвы, объясняется ассоциацией стрел с его изображением и историей о его попытке мученичества. С далекой древности мы видим, что стрелы символизируют чуму. У греков именно Аполлон рассеивал мор своим луком, и к нему также обращались с жертвоприношениями и хвалебными гимнами, чтобы предотвратить его. В христианской агиологии и христианском искусстве Себастьян является аналогом языческого Аполлона. Независимо от вариаций деталей, Себастьян практически всегда изображается либо утыканным стрелами, либо со стрелой в руке. Учитывая его историю, было бы ошибкой показывать стрелы, пронзающие жизненно важные части, такие как сердце, мозг или даже шею, как это часто делается. И для художественного эффекта хорошо, чтобы их не было так много, чтобы они напоминали хорошо наполненную подушечку для булавок: хотя *Золотая легенда* гласит, что "лучники стреляли в него, пока он не был полон стрел, как еж полон уколов".

Таков эффект интересной фрески Беноццо Гоццоли (ок. 1420-97 гг.) в церкви Коллегиата в Сан-Джиминьяно, посвященной Себастьяну в 1465 году во время чумы. Во главе картины Христос со следами ран на руках общается с Богородицей и группой святых. Себастьян стоит на пьедестале, все его тело усеяно стрелами, а по обе стороны от него быстро увеличивается число лучников. Эта фреска из Коллегиата была тщательно повторена в итальянском *Пестблаттере*, воспроизведенном в портфеле *Пестблаттеров* Хайца-Шрайбера (q.v.).

На другой вотивной фреске в церкви Сан-Агостино в Сан-Джиминьяно, также выполненной Беноццо Гоццоли в память о катастрофической чуме 1464 года, изображен Себастьян, отводящий своим плащом сломанные стрелы моровой язвы. В верхней части фрески Всевышний пускает в ход свои стрелы, а сопровождающие его ангелы помогают ему в этом. Между ними и Себастьяном стоят на коленях в молитве Христос и Богородица. Себастьян стоит в центре переднего плана на низком каменном постаменте, на котором начертаны слова: "Sancte Sebastiane, Intercede Pro Devoto Populo Tuo". Его тело полностью задрапировано, а сломанные стрелы лежат позади него, убранные руками ангелов, двое из которых держат над его головой мученический венец.



СОДОМСКОЕ ЗНАМЯ СЕБАСТЬЯНА ЧУМАКА
(НА ОБОРОТЕ)

СС. Рох и Сигизмунд и братья из Общества святого Себастьяна

Фотография Алинари, Рим

Эти старые изображения Себастьяна, выполненные Беноццо Гоццоли, а также Альбрехтом Дюрером и представителями ранней немецкой школы, на которых Себастьян изображен пожилым бородатым мужчиной, мало чем привлекательны. Самыми красивыми являются картины Перуджино, Содомы и Франчия, которые используют его обнаженную и юную

фигуру, как греки использовали Аполлона, в качестве модели для демонстрации изящества форм и точности анатомического дизайна. Как одна из немногих обнаженных форм, допустимых в христианском искусстве, легко понять, почему Себастьян фигурирует в таком множестве картин. Лучшим примером этого типа является непревзойденный шедевр Содомы (1477-1549), хранящийся сейчас в галерее Уффици во Флоренции, одно из самых прекрасных творений искусства эпохи Возрождения. Раньше это было знамя, написанное в 1528 году для сиенской компании Сан-Себастьяно ин Камолья, которое несли в процессии, когда Сиена была поражена мором. Она хранилась в церкви братства в Сиене, пока не была перевезена во Флоренцию в 1786 году. Непокрытое тело святого выполнено по образцу юношеского Аполлона. Он привязан к дереву на переднем плане дикого итальянского пейзажа. Его шея, бок и одно бедро пронзены стрелами. Вздернутое лицо носит выражение экстаза, несмотря на страдания, когда ангел спускается, чтобы возложить мученический венец на его чело. Саймондс сказал об этой картине:

"Одаренный утонченным чувством красоты человеческого тела, Содомы преуспел, когда довольствовался одной фигурой. Его "Святой Себастьян", несмотря на блеклые и потускневшие краски, все еще остается лучшим из того, что было написано. Страдание, утонченное и духовное, без искажений и спазмов, не могло быть представлено с большим пафосом в форме, превосходящей по красоте. Это поистине демоническая картина по своему очарованию и памяти, которую она оставляет в сознании. Частично ее не поддающееся анализу очарование, возможно, объясняется смелой мыслью соединить красоту греческого Гиласа с христианским чувством мученичества. Только эпоха Возрождения могла создать столь удачный и столь глубоко прочувствованный гибрид".

На обороте знамени изображена [Мадонна с Младенцем](#) на руках, вознесенная на облака, над коленопреклоненной группой из СС. Рох и Сигизмунд, а также члены Общества Святого Себастьяна в характерных одеждах. Работа значительно уступает лицевой стороне знамени и, как говорят, частично является работой Беккафуми (1486-1551).

На другой превосходной, но малоизвестной картине Перуджино (около 1446-1524 гг.), хранящейся в музее Гренобля, изображен тот же тип обнаженной фигуры Себастьяна, привязанного к дереву. И лицо, и фигура - само воплощение юности и грации, граничащей почти с женственностью. На этой картине рядом с Себастьяном стоит С. Аполлинария.

В исключительных случаях, особенно на старых картинах, юный Себастьян изображен одетым в костюм того времени, со стрелой в руке или без нее. В Брере в Милане находится складной алтарный образ из пяти панелей работы Николо да Фолиньо (ок. 1430-92 гг.), на котором он представлен как юноша в килтовой тунике и рукавах. Подобным образом он одет на другой картине в Ватикане, "Коронация Богородицы и святых" (), также написанной Николо да Фолиньо, и на некоторых других.

Себастьян очень часто изображается на чумных картинах вместе с другими святыми: наиболее частым его спутником является святой Рох. В ризнице церкви Санта Мария делла Салюте в Венеции, которая сама была чумной церковью, хранится [известная картина Тициана](#), посвященная великой чуме 1512 года, на которой святой Себастьян, святой Рох и святые врачи Космо и Дамиан стоят перед тронном святого Марка, на чью величественную фигуру опустилась тень облака. Эти группы святых нередко изображаются посредничающими с Мадонной.

Путешествуя по Италии из города в город, понимаешь, что страна моровой язвы была условно разделена на отдельные владения под опекой разных святых-председателей. В Милане это Карло Борromeо: в Венеции - Сан-Рокко: в Риме - Мадонна: в Центральной

Италии - Сиена, а во Флоренции - Сан-Себастьяно. Во Флоренции он был покровителем Компаньи делла Мизерикордиа, учреждения, которое на протяжении семи веков было так тесно переплетено с повседневной жизнью города и оставило немалый след в произведениях флорентийского искусства.

Христианская скульптура также воспользовалась возможностью использовать обнаженную фигуру в качестве модели. Известны статуи Маттео Чивитали (ок. 1470) в Лукке и Пюже (1622-94) в церкви Кариньяно в Генуе. Колоссальная лежащая фигура святого работы Бернини (1598-1680) находится под главным алтарем церкви Святого Себастьяна на Аппиевой улице в Риме.

В Швейцарии, а также в южной Германии и юго-восточной Франции часто встречаются деревянные статуи Себастьяна, относящиеся в основном к трем столетиям после Черной смерти. Несколько из них можно увидеть в Историческом музее в Базеле, более или менее архаичные по характеру, и очень прекрасный образец в музее Ключи в Париже. В том же музее хранится пара причудливых цветных горельефов из дерева, изображающих святого Себастьяна и святого Роха соответственно. Эти деревянные чучела, естественно, наиболее распространены в районах, где широко развита резьба по дереву.



СС. МАРК, СЕБАСТЬЯН, РОХ,
КОСМА И ДАМИАН.
ТИТИАН

Фотография Найи, Венеция

Не следует думать, что культ Себастьяна был широко распространен с самого начала, или что запись его роста непрерывна и не прерывается с момента его открытия во время римской чумы 683 года. Обстоятельства складывались так, что они были против его непрерывности. Седьмое столетие не было примечательным периодом чумы в Европе, а теперь это была доминирующая эпидемия. В Ирландии был голод и мор,^[144] но его природа неизвестна, и короли Эрина решали свой ирландский вопрос в духе Кромвеля. В сезон голода они созвали ведущих священнослужителей и мирян на совет, чтобы рассмотреть ситуацию. Никто,

учитывая обстоятельства, не станет оспаривать правильность их предписания духовенству и мирянам соблюдать пост. Но дальнейшее предписание использовать часы воздержания для молитвы о том, чтобы какая-нибудь болезнь унесла избыток низших сословий, поскольку избыток населения был причиной голода, вызывает больше споров. ('Petebant ut nimia multitudo vulgi per infirmitatem aliquam tolleretur, quia numerositas populi erat occasio famis.') По примеру святого Джеральда, который утверждал, что Всевышний мог бы облегчить ситуацию более подходящим и столь же простым способом, умножив плоды земли, было предложено рекомендовать ему принять этот курс, во всяком случае, в качестве предварительной меры. Но духовенство и миряне во главе со святым Фешином не были настроены на такие половинчатые меры, не обещающие ничего окончательного, и предложение святого Джеральда было отклонено. Вскоре последовал мор, и Божественный промысел проявился в том, что среди его бесчисленных жертв оказались святой Фешин и два короля Эрина.

Несмотря на то, что после седьмого века чума вернулась из Европы, Сирия,^[145] долина Евфрата и Ирак по-прежнему с частыми интервалами опустошались повторяющимися эпидемиями. Из этого постоянного источника она распространилась до Константинополя в 697 и 794 годах н.э., в последнем случае почти полностью обезлюдив Константинополь, согласно Никифору Византийскому. Константинополь находился в столь тесных торговых и политических отношениях с Сирией и Центральной Азией, что передача чумы была практически неизбежна. После этого в Европе и, в меньшей степени, в Сирии наступило долгое затишье вплоть до XI века. Часто с уверенностью утверждают, что крестовые походы вернули чуму в Европу, но не следует забывать, что в 1094 году н. э., до начала крестовых походов, на этом континенте была сильная эпидемия чумы. Несомненно, они способствовали сохранению преемственности инфекции. Чума, которая уничтожила армию Людовика IX и унесла его самого и его сына, отнюдь не была бубонной чумой. Сохранившиеся свидетельства говорят скорее о холере или дизентерии. В 1167 году армия Фридриха Барбароссы, стоявшая лагерем перед Римом, была сметена мором, который, похоже, был бубонной чумой, проник в город и произвел большой хаос. Томас а Бекет, написав папе Александру III после отступления Фридриха, поздравляет его с тем, что Господь уничтожил армию Сеннахериба. В 1230 году после разрушительного наводнения Тибра последовала чума, которая заставила римлян отозвать изгнанного папу Григория IX. В 1244 году чума охватила Флоренцию и привела к учреждению Компании делла Мизерикордия. Ее основой стали штрафы, которые платили торговцы шерстью за использование нецензурных и богохульных выражений на своих собраниях. Один из них, старый добрый Пьеро ди Лука Борси, побудил их, когда общая сумма достигла большой суммы, потратить ее на обеспечение шести ликторов, по одному на каждый приход города, и еженедельно выбирать двух своих членов для каждого ликтора, чтобы перевозить больных в больницы или мертвые тела в морги.

В 1294 г. чума вновь широко распространилась в Европе, и череда разрозненных эпидемий, самыми сильными из которых были эпидемии 1320 и 1333 гг. на юге Франции и Испании, привела к жестокой пандемии 1348 г. и позже, известной как Черная смерть.

Из безлюдной пустыни Черной смерти возникла фигура святого Роха,^[146] покровителя больных чумой и заступника против чумы. Он родился в Монпелье, сын знатных родителей, вероятно, около 1295 года, и по знаку рождения - маленькому красному кресту на груди - казался предназначенным для святой жизни. Так Магомет до него носил в отпечатке родинки между плечами знак своей божественной миссии. С детства его привлекали деятельные

добродетели Искупителя, и он стремился следовать этому примеру, а не посвятить себя жизни в монастыре. Смерть родителей, не дожив до двадцати лет, оставила ему большое богатство, которое он сразу же раздал бедным и больницам. Свои земли он оставил в управлении брата, а сам отправился пешком, как паломник, в Рим. По пути он обнаружил, что в Аквапенденте свирепствует чума. Там он посвятил себя служению больным в госпитале, и его мастерство и сочувствие были настолько велики, что его услуги считались более чем человеческими. Больные, казалось, исцелялись одними его молитвами или крестным знаменем, когда он стоял над ними, так что, когда чума вскоре прекратилась, они в своем энтузиазме приписали это его заступничеству. Так и сам Рох проникся верой в божественное провидение, специально направляющее его служение. Услышав, что чума опустошает провинцию Романья, он поспешил туда и посвятил себя больным в городах Казена и Римини. Затем он отправился в Рим, где свирепствовала чума (ок. 1306 г.), и в течение трех лет ухаживал за больными, посвящая себя тем, кто больше всего нуждался в помощи. Он постоянно молил Бога о том, чтобы стать мучеником в своем деле, но долгое время он проходил невредимым через ежедневные опасности. Посещая город за городом, где свирепствовала чума, он, наконец, заразился в Пьяченце, когда ухаживал за больными в госпитале. Вместе со жгучим внутренним жаром на его левом бедре образовалась ужасная язва. Боль была настолько нестерпимой, что он громко закричал. Боясь потревожить обитателей госпиталя, он выполз на улицу, но служители не позволили ему остаться там, опасаясь распространения инфекции. С помощью своего посоха паломника он дотащил себя до уединенного места за воротами Пьяченцы и там лег умирать. Но доброе Провидение все равно присматривало за ним. Его маленькая собачка, которая преданно сопровождала его во всех паломничествах, ежедневно ходила в город и приносила оттуда буханку хлеба, о которой никто не знал. Приходил и ангел, перевязывал его больное место и ухаживал за ним, пока он не поправился. Другие говорят, что пищу ему принесла собака его земляка, некоего Готарда. Выздоровев, он вернулся в родной Монпелье, но страдания так изменили его, что даже его собственные приближенные не узнали его. Его арестовали как шпиона и приговорили к тому, что судья, оказавшийся его родным дядей, бросил его в государственную тюрьму. Рох, полагая, что на то есть воля Божья, подчинился наказанию, не раскрывая своей личности, и пять лет томился в темнице. Однажды утром, когда тюремщик вошел в свою камеру, он обнаружил, что она наполнена ярким сверхъестественным светом, а его узник мертв, и рядом с ним лежит письмо, на котором написано его имя и слова: "Все, кого поразила чума и кто молится о помощи через заслуги и заступничество святого Роха, раба Божьего, будут исцелены". Его дядя, судья, с почестями похоронил его, и весь город оплакивал его смерть.

Считается, что святой Рох умер в 1327 году на тридцать втором году жизни. В Монпелье его почитали с самого начала, и это почитание усилилось и расширилось после великой эпидемии 1348 года. Но только в XV веке его культ получил широкое распространение. Это стало прямым следствием вспышки чумы в Констанце в 1414 году, во время того собора прелатов, который приговорил Гуса к костру. Они уже собирались разойтись и бежать от опасности, когда один молодой немецкий монах рассказал им о силе святого Роха. По его совету совет приказал пронести чучело святого в процессии по улицам с молитвами и литаниями, и сразу же чума была остановлена. Его праздник вот уже несколько веков отмечается в шестнадцатый день августа.

В 1485 году венецианцы, которые из-за своей торговли с Левантом постоянно страдали от чумы, тайком вывезли тело святого Рохы из Монпелье, и для него была построена церковь Сан-Рокко.

Такова легенда о святом Рохе. Он и Себастьян обычно изображаются вместе на посвященных картинах, посвященных чуме, как двойные защитники от чумы. В искусстве они, кажется, представляют два отношения к страданиям: святой Рох - сострадание, святой Себастьян - мужество и смирение - два отношения, хорошо выраженные в четырех коротких строках малоизвестного австралийского поэта, которые заслуживают того, чтобы быть более известными, чем они есть:

Жизнь - это в основном пена и пузыри: Две вещи стоят как камень: Доброта в чужой беде, Мужество в своей.

Став общеизвестной примерно в эпоху возрождения искусства, легенда о святом Рохе и его фигура стали любимыми и привычными сюжетами в христианском искусстве Запада. Вся легенда часто использовалась в качестве темы для украшения церквей, посвященных его имени: такую можно увидеть в Сиене, а другую, хотя и менее полную, - в Венеции. В Скуоле ди Сан Рокко его жизнеописание изложено в серии из двадцати резных рельефов на ореховой обшивке верхнего зала.

Иногда несколько сцен из его жизни объединены в одну картину. В Брере в Милане находится картина "[Святой Рох с Мадонной и младенцем](#)" работы Амброджо да Фоссано, называемая "Боргоньоне" (ок. 1480-1523 гг.). На заднем плане изображены сцены из его жизни, среди которых его собака, несущая в пасти каравай. Ранее картина принадлежала Миланской благотворительной компании.

Святой Рох обычно изображается мужчиной в расцвете сил, с короткой остроконечной бородой, тонкими чертами и мягким выражением лица. Как правило, он одет в одежду паломника, в шляпе у него ракушка, а на боку - кошелек. В одной руке он держит длинный посох, а другой приподнимает халат, чтобы показать чумную рану в паху или на бедре. Очень редко он изображается в виде юноши в одежде того времени, и тогда его почти всегда вводят, чтобы уравновесить похожего Себастьяна.

Многочисленные картины посвящены отдельным эпизодам его жизни - уходу за больным чумой, исцелению ангелом, жизни и смерти в тюрьме. Самыми известными, пожалуй, являются работы Тинторетто в церкви Сан-Рокко в Венеции. На многих картинах он молится среди больных, как на картине Доменикино из Болоньи (1584-1641 гг.) в Палаццо Россо в Генуе. Над сценой парит ангел с нарисованным мечом, а святой Рох протягивает руку, как бы умоляя ангела вложить меч в ножны. Якопо Бассано (1510-92 гг.) на картине в Брера изобразил его среди жертв чумы, с поднятой рукой в знак благословения.



S. РОЧ.
АМБРОДЖИО БОРГОНЬОНЕ

Фотография Андерсона, Рим

ПЛАТА ХІ (Лицевая страница 109)



КАРТИНА ЗАСТУПНИЧЕСТВА ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
АВТОР НИКЛАУС МАНУЭЛЬ.
S. РОХ, ЗА КОТОРЫМ УХАЖИВАЕТ АНГЕЛ

На картине швейцарского художника Никлауса Мануэля (ок. 1484-1530 гг.) из Базеля, написанной темперой на льне, [изображен святой Рох](#) с ангелочком, ухаживающим за его раной. Она является типичной для большой группы [заступнических изображений чумы](#). В верхней части картины изображен Всемогущий в небесной славе. Под ним - святая Анна с Девой Марией и Младенцем Иисусом: они помещены между Всевышним и больным чумой, чтобы указать на то, что они являются подходящим средством заступничества. С одной стороны их окружает святой Рох, а с другой - святой Иаков. Святая Анна появляется на многих картинах этого периода, поскольку папа Александр II в 1494 году способствовал ее почитанию, сделав день ее праздника одним из главных праздников церкви. У подножия картины изображен грубый план города, пораженного чумой: справа от него - группа, представляющая, вероятно, дарителей картины: слева - группа страдальцев, у двоих из которых на конечностях видны следы чумы. На руке женщины - приподнятая язва: на руке мужчины - черные петехиальные пятна, на теле - большие круглые пятна, а на внутренней стороне ноги - открытая красная язва.

Одно из самых известных изображений святого Роха - алтарная картина Рубенса в Алосте, недалеко от Брюсселя. В верхней части картины изображен интерьер тюрьмы, освещенной сверхъестественным светом. Святой Рох стоит на коленях, глядя в лицо Христа, сияющего благодарностью, когда он получает свое поручение как святой покровитель против чумы. Ангел держит скрижаль, на которой написано: "Eris in peste patronus", в знак того, что эти слова были обнаружены в его келье после смерти.

Статуи святого Роха встречаются не так часто, как статуи Себастьяна: он был менее привлекательной моделью для скульпторов. В музее Гренобля хранится причудливая архаичная деревянная фигура святого Роха начала XV века, которая раньше стояла в часовне замка Брессье. На ней он изображен в облике паломника, откинувшего одежду, чтобы показать бубон в левом паху. На нем нанесены глубокие надрезы в соответствии с хирургической практикой того времени.

Чумной знак Святого Роха изображается в разных формах. Иногда это просто бубон в паху, обычно левом, или чуть ниже его, чтобы удовлетворить художественные приличия. Такую форму можно увидеть на картине Кривелли (1468-93 гг.) "Четыре святых" в Академии в Венеции, а также на картине "Святой Рох и Святой Себастьян" Альфани в Пинакотеке в Перудже.

Гораздо чаще клеймо представляет собой короткий продольный разрез в верхней части бедра, как на чумном знамени Содомы ([см. Plate VIII, p. 100](#)).

Иногда разрез находится в веществе бубона. Это можно увидеть на портрете святого Роха над приделом в церкви Санта Мария деи Серви в Сиене.

Нередко разрез бывает косым или поперечным и демонстрирует полное игнорирование бедренной артерии. Яркий пример - картина Тициана "Святой Марк и святые" в Салюте в Венеции ([см. Plate IX, p. 102](#)).

Иногда рукав разрезается над разрезом плоти, как будто смелому и занятому хирургу не хватало времени. Это можно увидеть на картине Карото "Четыре святых" в церкви Сан-Фермо Маджоре в Вероне, а также на картине Перуджино "Богородица и святые" в соборе Перуджи и на другой картине Святого Роха в Палаццо Борromeо в Милане.

Одиночный пример святого Роха с черным гнойником на внутренней стороне левого бедра, окруженным розовой зоной воспаления, можно увидеть в Брере. Картина написана Бернардино Боргоньоне (ок. 1490-1524).

На некоторых *Pestblätter* изображена рана на бедре, а также небольшой круг, который, по-видимому, обозначает круглый чумной гнойник.

ПЛАТА XII (Лицевая страница 110)



МАДОННА С РЕБЕНКОМ,
S. АННА И СВЯТЫЕ
ДЖ. ФРАНЧЕСКО КАРОТО

Фотография Алинари, Рим

ГЛАВА VII

Нет необходимости переписывать историю Черной смерти: это было прекрасно сделано Геккером и аббатом Гаске. Тем не менее полезно исследовать ее побочные эффекты в области литературы и искусства и рассмотреть ее широкие болезненные черты в качестве вклада в историю медицины того времени. Черная смерть стала первой великой пандемией, оставившей после себя полную и непрерывную череду литературных и исторических свидетельств, в большинстве случаев дополняющих друг друга, в некоторых откровенно противоречащих друг другу, но от этого не менее поучительных.

Относительно места начала пандемии мнения расходятся. Русские источники относят ее к Индии, греческие - к Скифии, английские - к Индии и Азиатской Турции, арабские - к Тартарии и стране тьмы. Согласно итальянской традиции, он зародился в Катае, на севере Китая, и распространился во всех направлениях от этого очага; на север через Бохару и Тартарию к Черному морю; в Индию и города к югу от Каспия, и в Малую Азию; и через Багдад через Аравию и Египет на север Африки. Ведущим современным итальянским авторитетом является Габриэль де Мусси, нотариус из Пьяченцы, который сам был свидетелем ее возникновения в Верхней Италии. В своей работе *"Ystoria de morbo seu mortalitate qui fuit a 1348"*, впервые напечатанной Хеншелем в *"Archiv für die gesammte Medicin"* Хэзера, он описывает, как чума была привезена на корабле из Каффы, генуэзского поселения в Крыму. Тартарский город Тана (Порт-Азов), который был захвачен итальянскими купцами, был осажден в 1346 году армией татар и сарацин. Татары изгнали их и преследовали до Каффы, откуда они бежали. Чума свирепствовала среди осаждавших татар, которые, надеясь заразить гарнизон, бросали свои мертвые тела в город с помощью боевых машин. Гарнизон, в свою очередь, выбрасывал их в море, но город заразился и почти полностью обезлюдел, а немногие выжившие сели на корабль и осенью 1347 года унесли с собой болезнь в Италию. Говоря о заражении Каффы, де Мусси отмечает, что "воздух стал испорченным, а колодцы с водой - отравленными, и таким образом болезнь быстро распространилась по городу". Таким образом, старая идея яда все еще преобладает, но это вирус, полученный от зараженных трупов, а не какой-то посторонний яд, подмешанный злобным врагом. Яд передавался и от человека к человеку, так как о морях, прибывавших из Каффы в Венецию и Геную, он говорит, что "словно сопровождаемые злыми духами, как только они приближались к суше, они несли смерть тем, с кем смешивались".

Эти корабли, по-видимому, заразили Константинополь *по пути*, и рассказ об их опустошениях сохранился от пера императора Кантакузена.^[147] Ошибочно считать его записи бесполезным материалом из-за плагиата значительной части языка Фукидида. В том, что не было присвоено из этого источника, он дает ценное клиническое описание болезни. Он отмечает ранний слабый бред, различает пневмонический, бубонный и карбункулярный типы болезни. Он упоминает шейные и подмышечные, но не паховые бубоны, а также темные пятна на коже, которые позже стали называть "токенами". Он также утверждает, что болезнь встречается у домашних животных.

Направляясь в Геную, эти корабли заходили в Мессину на Сицилии и оставляли там инфекцию. Михаил Платиенсис (из Пьяццы), францисканский монах, рассказал о ее течении в этом городе. Он говорит о заражении через дыхание и контакт с вещами зараженного. Габриэль де Мусси, похоже, придерживается аналогичного мнения. "Мы" [то есть генуэзские моряки], - говорит он, - "достигаем своих домов: наши родственники и соседи приходят со всех концов, чтобы навестить нас. Горе нам, ибо мы бросаем в них дротики смерти! Пока мы

говорили с ними, пока они обнимали и целовали нас, мы разбрасывали яд с наших губ". Возвращаясь в свои дома, они вскоре заражали все свои семьи".

Де Мусси прямо утверждает, что чума была перенесена из морского порта Генуи некоторыми генуэзцами в Боббио и в его город Пьяченцу. Здесь была такая смертность, что "не произносились молитвы, не пелись торжественные службы, не звонили в колокола на похоронах даже самых благородных граждан, но днем и ночью трупы без обрядов и церемоний несли в общую чумную яму".

Таким образом, Италия была заражена в первую очередь в Венеции и Генуе, а из этих приморских городов болезнь распространилась по всему итальянскому полуострову.

В Венеции пример Галена глубоко запал в сердца ее врачей. Они бежали перед наступающим врагом и заперлись в своих домах, оставив хирургов во главе с Андреа ди Падова занимать их место. Врачам не мешало бы помнить об этом случае, когда они жалуются на вторжение хирургии в область медицины. 30 марта 1348 года Большой совет Венеции назначил трех человек в качестве Комитета общественной безопасности. Эти люди вырыли на одном из островов лагуны большие погребальные ямы и организовали службу лодок для перевозки туда тел.

Рим пострадал не так сильно, как некоторые города Италии. Тем не менее, памятник этой чуме до сих пор сохранился в виде мраморных ступеней, ведущих к церкви Ара Коэли. Они были установлены Джованни де Колонна в октябре 1348 года из руин храма Солнца на Квиринале и предназначались для горожан, которые с веревками на шее и пеплом на голове босиком поднимались на холм, чтобы умолять Пресвятую Деву о прекращении чумы. Мозаику XIII века с изображением Мадонны с Младенцем до сих пор можно увидеть над боковым входом в Ара Соелі у начала потёртой лестницы, ведущей вверх с Капитолийской площади. Объект поклонения остался, но поклонников больше нет.

Ланчиани^[148] воспроизвел старую гравюру, на которой изображены женщины, поднимающиеся по мраморной лестнице на коленях. Эта лестница, по-видимому, указана как на картине Делоне, так и на фреске, которой он вдохновлялся.

В Риме существует легенда, что когда охваченные паникой люди несли чучело Мадонны из Ара Коэли к собору Святого Петра, статуя ангела на замке Сант-Анджело склонила голову в знак почтения к ней.

Чума была не единственным врагом Рима в 1348 году, так как ужасное землетрясение 9 и 10 сентября нанесло разрушительный удар по оставшимся памятникам древнего Рима. Те горожане, которые спаслись от чумы и смерти среди рушащихся развалин, неделями жили на открытой Кампанье, не имея возможности укрыться от непогоды. Возможно, именно эта случайность послужила тому, что визит закончился в Риме быстрее, чем в других местах.

Аньоло ди Тура в своей *"Кронике Сенеде"*, отредактированной Муратори, дает наглядное представление о Черной смерти в Сиене. На большой неинтересной картине в церкви Санта Мария деи Серви изображена святая Катарина, посещающая больных чумой, а в доме святой Катарины Сиенской есть уродливая, почти смехотворная фреска на ту же тему. Братья-художники Пьетро и Амброджио Лоренцетти оба заболели чумой. Но именно в самом Дуомо отпечаток Черной смерти наиболее очевиден. Начатое в 1339 году на месте более древнего собора, посвященного Мадонне Успения, строительство трансептов, фундамент нефа и хора были заложены, а стены частично подняты по проектам Ландо Орефиче, когда в 1348 году в городе разразилась Черная смерть. Деньги, собранные на строительство, были

направлены на неотложные общественные нужды, и работы, однажды приостановленные, так и не были полностью завершены. Нынешний собор, как ни великолепен он, является лишь фрагментом великолепной ткани, в которой Орефиче намеревался запечатлеть памятник славы Сиены XIV века.

Маленькая Капелла ди Пьяцца, пристроенная в качестве лоджии к Общественному дворцу Сиены, была возведена в благодарность за прекращение чумы, унесшей не менее тридцати тысяч человек. Строительство было начато в 1352 году, а завершено в 1376 году. В Сиене жители Сан-Джиминьяно в качестве платы за свою защиту воздвигли алтарь святым Фабиану и Себастьяну и установили его между дверями Пьеве или Коллегиата. Над тем местом, где он когда-то стоял, сейчас находится фреска Беноццо Гоццоли, посвященная чуме 1464 года.

Не менее известный человек, чем Петрарка[149], описал эту чуму в Парме. Его письмо ни в коем случае не является описательным, это скорее затянувшийся плач по поводу разрушений, потери друзей и близких, а также масштабов уничтожения, которое, как ему казалось, грозило полным исчезновением рода человеческого. Аффект - ключевая нота его причитаний, которые часто перемежаются ссылками на античную классику. Лаура умерла от чумы в Авиньоне в 1348 году, и Петрарка в душевной печали написал эти строки по рукописи своего любимого Вергилия, хранящейся сейчас в Амброзианской библиотеке в Милане:

Лаура, прославленная своими добродетелями и давно воспетая в моих песнях, впервые встретила мой взгляд в дни моей юности, 6 апреля 1327 года, в Авиньоне; и в том же городе, в тот же час того же 6 апреля, но в 1348 году, ушла из жизни, пока я был в Вероне, не сознавая своей потери. Эта печальная истина стала известна мне из писем, которые я получил в Парме 19 мая".

Ее целомудренное и прекрасное тело было погребено вечером того же дня в церкви Миноритов, а душа, как я полагаю, вернулась на небеса, откуда и пришла".

"Писать эти строки при горьком воспоминании об этом событии и в том месте, где они чаще всего будут встречаться с моими глазами, - в этом есть что-то от жестокой сладости, но я забываю, что в этой жизни меня больше ничто не должно радовать, что, по милости Божьей, не должно быть трудно для того, кто напряженно и мужественно думает о пустых заботах, пустых надеждах и неожиданном конце ушедших лет".

Флорентийцы, восстанавливая свой город после Черной смерти, основали университет и предложили Петрарке профессорскую кафедру, от которой он отказался.

Маттео Виллани[150] написал простой и неприкрашенный рассказ о состоянии Флоренции во время Черной смерти, но он не нашел поддержки рядом с легким очерком, который стоит в качестве прелюдии к *"Декамерону"*. Его брат Джованни, флорентийский историк, был одной из первых жертв, и Маттео продолжает свою историю с того момента, на котором он ее оставил, и начинает с описания эпидемии. Голод предшествовал чуме и, как и она, считался посланным небесами в наказание за грех. Энергичные действия правительства по импорту кукурузы и ее распределению среди нуждающихся во многом облегчили бедственное положение, когда этот страшный враг появился у ворот.

И Виллани, и Боккаччо подчеркивают тщетность всех мер, как профилактических, так и лечебных, а также сильную заразность болезни. Они считали, что она может передаваться как через взгляд, так и через контакт с человеком или вещами зараженного. Боккаччо упоминает о быстрой смерти двух свиней от того, что они копошились среди зараженной одежды. Одни полагались на строгое уединение: другие - на умеренность, третьи - на

невоздержанность: четвертые искали безопасности в ношении ароматических веществ. И Виллани, и Боккаччо подчеркивают крайнюю развращенность и деморализацию, вызванную чумой. Большая неопределенность жизни никогда не порождает соответствующего безрассудства. Так было, когда Иерусалим, охваченный паникой из-за угрозы нападения Сеннахериба, предался дикому веселью: "И в тот день призвал Господь Бог Саваоф плакать и скорбеть, и облысеть, и опоясаться мешковиной; но вот радость и веселье, режут волов и убивают овец, едят плоть и пьют вино: давайте есть и пить, ибо завтра умрем". Маттео Виллани связывает с Черной смертью социальное и моральное вырождение и политическую анархию, которые свирепствовали во флорентийской жизни в последующие века. В домах охваченного чумой города семейные узы, как правило, достигают самого низкого уровня. Виллани и Боккаччо вторят Фукидиду, рассказывая о родителях, бросающих детей, мужах и женах в трудную минуту, и о пренебрежении священными обрядами погребения. Чума свирепствовала во Флоренции с апреля по сентябрь, и Антонин, архиепископ Флоренции, подсчитал, что смертность в городе составила 60 000 человек, две трети всего населения. Боккаччо увеличивает эту цифру до 100 000 только в период с марта по июль, но эта цифра, если она верна, должна включать в себя также окрестности, которые пострадали лишь в меньшей степени, чем сам город. На этом мрачном фоне социальной деморализации выделяется один яркий факт - преданность Компании делла Мизерикордиа своей самоназначенной задаче. Учрежденные в 1244 году для обслуживания больных, теперь они также занимались перевозкой мертвых. На картине Чиголи (1559-1613 гг.), хранящейся в церкви Мизерикордии, изображено братство в красных одеждах, которые теперь сменили на черные, собирающее мертвых и умирающих у подножия башни Джотто. Носильщиков и по сей день можно увидеть на улицах Флоренции в тех же одеяниях и капюшонах, скрывающих все лицо, кроме глаз, но ручные коляски и седаны с картины Чиголи теперь поставлены на колеса и освящены для современного использования с добавлением моторной машины скорой помощи. В казну гильдии стекались огромные деньги от людей, желавших увенчать порочную жизнь комфортной смертью и достойным погребением.

Ужасы охваченного чумой города, которыми Боккаччо предварил свой *"Декамерон"*, разительно контрастируют с веселым легкомыслием юношей и девушек, вокруг которых крутится его роман. Чума и наслаждение сталкиваются друг с другом в резком сопоставлении. Боккаччо специально выбрал этот мрачный фон для постановки своей светлой темы. До него то же самое сделал Фукидид, поставив панегирик Периклу бок о бок с афинской чумой, а после него это сделал Мандзони в романе *"Промессы Спозы"*. Возможно, он также научился среди свирепой реальности чумы видеть жизнь такой, какая она есть, и так представлять ее своим читателям.

Нибур, связывая упадок римской литературы с антониновской чумой, приводит в качестве параллельной иллюстрации влияние Черной смерти на раннюю флорентийскую литературу. В последнем случае, во всяком случае, трудно привести его сентенцию в соответствие с фактическими обстоятельствами. Скорее можно предположить, что перерыв в развитии жаргонной флорентийской литературы после Данте, Петрарки и Боккаччо был преднамеренным и ни в коем случае не случайным. Петрарка понял, и понял безошибочно, бедность материала, на котором вернакулярная литература влачила голодное существование; он увидел в древних классиках, в их мифологии, в их умозрительной свободе, в принципах их искусства освобождение от рабства, которое церковь наложила на литературу. Он не понимал, что, возвращаясь к древним формам мышления, не нужно, даже вредно, перенимать и язык древних. Ему не было открыто, как и нам, что ни одно великое произведение литературы никогда не было создано на каком-либо языке, кроме того, на

котором писатель говорит, чувствует и думает: любой язык, кроме языка его повседневной жизни, должен быть искусственным и неживым. Сам Петрарка не догадывался, что его слава среди потомков будет зависеть от его *"Rime"* на просторечии, а не от его посланий и многочисленных диссертаций на безжизненном латинском языке. Именно этим ошибочным учением Петрарки объясняется резкий перерыв на столетие или даже больше в развитии народной флорентийской литературы, чему Черная смерть могла быть лишь незначительной причиной. Как только эта ошибка была признана, флорентийская литература снова потекла по своему старому руслу в полном потоке шедевров пятнадцатого и шестнадцатого веков - Ариосто, Тассо и других. Именно совет Петрарки заставил Боккаччо перейти с жаргона на латынь, после того как он завершил в своем *"Декамероне"* шедевр итальянской прозы. Влияние классического возрождения, вызванного к жизни Петраркой, должно было также постепенно секуляризировать флорентийское искусство, но время его полного освобождения еще не пришло.

Черная смерть впервые коснулась французской земли в Марселе, куда ее, как считалось, привезли корабли из Генуи. Врач Симон де Ковино описал особенности болезни, которую он наблюдал в соседнем городе Монпелье, в стихах латинским гекзаметром. Он ясно осознавал ее заразный характер, ибо говорит: "От одного прикосновения или одного дыхания больного чумой они погибали".

О чуме в Авиньоне сохранились как светские, так и медицинские свидетельства. Полное описание содержится в письме анонимного каноника своим друзьям в Брюгге. Он отмечает вирулентность заразы и описывает пневмонический и бубонный типы болезни. Он сообщает, что Климент VI приказал исследовать тела после смерти в надежде обнаружить происхождение болезни. На этот факт следует обратить внимание тем, кто утверждает, что Церковь интерпретировала буллу *De Sepulturis* Бонифация VIII (1300 г. н.э.) как запрещающую анатомирование человеческих тел. Вскрытие показало не более чем воспаление легких в случаях пневмонии. Аналогичные исследования, ранее проведенные в Италии, также не дали лучшего результата. Климент также предписал искупительные процессии и покаянные литании. В пределах своего дворца, куда его заточил фельдшер Ги де Шолиак, он сам присутствовал при всех предписанных им церемониях. При этом он не забывал поддерживать в своих апартаментах большие костры, как это делал папа Николай IV (1288-92 гг.) в Риме во время предыдущего визита. Только тот, кто побывал в Авиньоне в середине лета, может оценить цену, которую Климент был готов заплатить за неприкосновенность.

Врач Климента, Ги де Шолиак, утверждает, что чума началась в Авиньоне в январе и продолжалась семь месяцев.^[151] По его мнению, причины пандемии были двоякими: универсальными, заключавшимися в соединении планет, и специальными, зависевшими от слабого телосложения человека, из-за чего в первую очередь страдали рабочие. Но как тогда, так и сейчас испуганное население не поддавалось на понтификальные заявления с кафедры медицины. Они видели в этом дело рук евреев, распространяющих яд по всему миру, и предавали их смерти. Они видели в этом злобу прокаженных, поэтому изгоняли их. Они видели в нем заговор феодалов с целью их уничтожения, поэтому оставались в своих домах. А для большей безопасности они ставили вокруг городов и деревень стражу, которая подкарауливала каждого новоприбывшего и заставляла его проглотить все найденные при нем мази или порошки.

Де Шольяк описывает два распространенных типа болезни. Один тип, пневмонический, преобладал только в течение первых двух месяцев и характеризовался отхаркиванием крови, крайней заразностью и смертью через три дня. Второй тип, бубонный, преобладал в течение

пяти последующих месяцев и характеризовался фурункулами, пузырями, главным образом в подмышках и паху, легкой заразностью и смертью через пять дней. Смертность достигала не менее трех четвертей всего населения, так что, чтобы избавиться от трупов, их бросали в Рону, после того как Климент произнес благословение на ее воды.

Для Ги де Шольяка лучшим из всех консервантов был полет, которому способствовало, а может быть, и мешало, свободное использование алоэтических чистящих средств.

Сам он не летал, ибо говорит с *наивностью* Пэписа: "Что касается меня, то, чтобы избежать позора, я не смел отлучаться, но все же я был в постоянном страхе". (Et moy pour eüiter infamie, n'osay point m'absâter: mais auec continuelle peur me preseruay tant que ie peux, moyennant les susdicts remedes). Его нерешительность оказалась губительной, поскольку он сам заразился в конце эпидемии, но выздоровел через шесть недель. К другим предохранительным средствам он относит венерологию, очищение воздуха с помощью костров, успокоение сердца патокой, яблоками и пикантными блюдами, утешение организма армянским бором Галена, а также предотвращение гниения с помощью горьких продуктов. Если же болезнь не поддается всем этим мерам предосторожности, то в качестве лечебных мер он рекомендует кровопускания и опорожнения с помощью элексиров и сердечных сиропов. Бубоны должны созреть с помощью припарки из инжира и вареного лука, истолченного и смешанного с квасом и маслом: затем их следует вскрыть и лечить, как язвы. Карбункулы следует очищать пиявками, скарифицировать и прижигать - улучшение по сравнению с катастрофическим лечением, которому подвергся Феликс, епископ Нантский, в предыдущем случае.

Раймон Шалин де Винарио, еще один практикующий врач в Авиньоне во время чумы, мало что добавляет к тому, что говорит Ги де Шолиак. Он описывает твердый шнур, красный или разного цвета, который в некоторых случаях появлялся на поверхности тела, с карбункулом на одном конце и пестицидным бугорком на другом. Вряд ли это могло быть чем-то иным, кроме острого лимфангита.

Из описаний различных авторов ясно, что значительная часть случаев этой пандемии была пневмонического типа: отсюда ее вирулентность и контагиозность.

На фоне паники, вызванной Черной смертью, гонения на евреев вспыхнули с еще большим ожесточением, чем во время крестовых походов в двенадцатом веке. Нужна была какая-то жертва, чтобы успокоить обезумевшее население: так евреев обвинили в отравлении колодцев и даже в заражении воздуха. По всей Европе распространялись косвенные свидетельства о тайных операциях, проводимых из Толедо. Описывалось приготовление ядов из пауков, сов и других предполагаемых ядовитых животных, и становился известен способ их распространения. Их обвинители так хорошо обманывали самих себя, что во многих местах источники и колодцы были запечатаны, чтобы никто не мог ими воспользоваться, и жители многих городов были вынуждены полагаться на дождевую и речную воду. Если же требовалось подтверждение наличия яда, можно было положиться на каре: или, в противном случае, находились люди, достаточно гнусные, чтобы подбросить яд в места, где обстоятельства требовали его присутствия. Те, кто избежал ярости толпы, попадали в лапы неумолимого правосудия. В случае с евреями подозрение в отравлении было вызвано тем, что в это время медицинская практика, во всяком случае в Южной Европе, находилась в основном в руках еврейских врачей. Как мы знаем из трудов рабби Иешуа, в предыдущие эпидемии 1320 и 1333 годов на юге Франции и Испании происходили ужасные массовые убийства евреев.

Первая вспышка свирепого убийства, по-видимому, произошла в Шильоне, на Женевском озере, в сентябре и октябре 1348 года. Здесь это была лишь кульминация обвинения в отравлении колодцев, которое произошло так давно, во время эпидемии 1320 года. Перед лицом общей опасности высшие и низшие чины связали себя торжественной клятвой истреблять евреев огнем и мечом. Шильон призвал Берн, а Берн послал вызов Базелю, Фрейбургу и Страсбургу, чтобы те присоединились к ним в их праведном деле. Записи признаний, вырванных у евреев под пытками в Шильонском замке, были спасены от забвения благодаря бдительности Геккера.^[152] В Базеле и Фрейбурге евреи были схвачены все до единого и без суда и следствия сожжены до смерти в деревянном здании, специально построенном для этой цели, а в Страсбурге не менее двух тысяч евреев были сожжены на деревянном эшафоте, возведенном на их собственном месте захоронения. Тех, кому удалось спастись, безжалостно убивали на улицах, спасая лишь немногих, кому была дарована свобода при условии принятия крещения. Но и для них передышка от новых обвинений и смерти была лишь временной. Непреклонность перед собственной религией или физические чары, достаточные для того, чтобы утолить жажду крови своих христианских гонителей, были единственными приемлемыми претензиями на мимолетное милосердие. Страсбург выдал истинную причину своей ненависти к евреям в постановлении сената, согласно которому все залоги и облигации должны быть возвращены должникам, а деньги поделены между рабочим людом. Те, кто не желал пачкать руки кровавыми деньгами, по подсказке своих духовников отдали свою долю добычи монастырям. В Шпире, Майенсе и Эслингене только добровольное замуровывание в собственных домах спасало евреев от более бесчеловечных пыток. Некоторых убивали на открытых улицах, а их трупы бросали в Рейн в пустых бочках, чтобы они не заражали воздух. То и дело изгнание заменяли сожжением, и тогда изгнанники погибали от рук диких и кровожадных соотечественников.

Когда сжигали дома иудеев, запрещалось входить на развалины их жилищ: место было проклято, как место Иерихона в древности. Но кирпичи от разрушенных жилищ и надгробия жертв в свое время были принесены в качестве благодарственной жертвы Богу при ремонте христианских церквей. В Австрии против евреев были выдвинуты те же обвинения, что и в других странах, и многие были сожжены до смерти в Вене и по всей стране. Там, где евреев не было, как в Лейпсике, Магдебурге и других местах, гробокопателей обвиняли в распространении чумы в своих гнусных целях.

В заслугу Клименту VI следует поставить то, что он лично защитил евреев в Авиньоне, издав две буллы, утверждающие их невиновность и призывающие христиан воздержаться от преследований. Император Карл IV сделал все, что было в его силах, не прибегая к мечу, чтобы остановить бесчинства, творимые богемской знатью. Герцог Альберт Австрийский требовал от преследователей наказаний лишь менее жестоких, чем те применяли сами, но даже это не помогло спасти сотни евреев от огня в его собственной крепости Киберг. Другие мелкие князья, чаще за взятки, чем из жалости, оказывали ту или иную степень защиты несчастным евреям, заслужив для себя *прозвище* "жидомасонов". Приютить еврея было делом нелегким для частного лица, так как за это часто наказывали на дыбе или на костре.

Баснаж^[153] утверждает, что большое количество евреев в современной Польше объясняется тем, что король Казимир Великий (1333-70 гг.), поддавшись на уговоры любимой еврейки Эстер, предоставил убежище тем евреям, которые его искали. Но на самом деле Казимир лишь подтвердил эдикт о защите, обнародованный в 1264 году, а Польша уже тогда предоставила убежище евреям, которые бежали от жестоких расправ, учиненных в энтузиазме первого крестового похода.

В Англии Черная смерть послужила возрождению извечных обвинений, выдвигаемых против евреев: они крали христианских детей и убивали их, особенно на Пасху, - обвинение, которое Чосер, помня о Хью Линкольнском, закрепил в патетической строфе своей Настоятельница. Их также обвиняли в надругательстве над Святыней, а также в распространении яда.

Черная смерть, похоже, обрушилась на Австрию с большей жестокостью, чем на Германию,^[154] возможно, из-за ее тесного контакта с Италией. Она опустошила Вену с Пасхи до Михаэля 1349 года, унеся с собой тридцать тысяч человек из менее чем ста тысяч населения. Возбужденные жители олицетворяли ее с Пестом-Юнгфрау, которой достаточно было поднять руку, чтобы заразить жертву. Ее видели летающей по воздуху в виде голубого пламени, а также выходящей изо рта мертвых и умирающих. Некоторые видели, как яд чумы спускается в виде огненного шара. Один такой шар висел над городом, но епископ изгнал его молитвой, и он безвредно упал на землю. Каменное чучело Мадонны было установлено на улице, куда оно и упало. Вся медицинская помощь оказалась бесполезной, и в ход пошли амулеты, снадобья и консервирующие элексиры. Больных пытались изолировать, заколачивая двери и окна зараженных домов, но даже в этом случае улицы были завалены трупами. Для приема умерших были вырыты огромные чумные ямы. Процессии флагеллантов пытались вызвать божественное сострадание ритуалом перипатетического покаяния.

Генезис движения флагеллантов следует искать дальше в истории эпидемий, чем Черная смерть. Идея умерщвления плоти путем бичевания имеет древнее происхождение, и по крайней мере уже в XI веке братства посвящали себя этому ритуалу. Процессии этих *Devoti*, как их называли в Италии, были инициированы святым Антонием в 1231 году, и мы слышим о них под именем флагеллантов в Вене во время чумы 1261 года.

Один из Монахов Падуанских, которого цитирует Геккер, оставил запись о первых днях *Девоти*.

Когда земля была загрязнена пороками и преступлениями, беспримерный дух раскаяния внезапно овладел умами итальянцев. Страх перед Христом охватил всех: знатные и не знатные, старые и молодые, и даже дети пяти лет, маршировали по улицам, не прикрываясь ничем, кроме платка вокруг талии. Каждый из них нес бич из кожаных ремешков, который они, среди вздохов и слез, прикладывали к своим конечностям с такой силой, что из ран текла кровь. Не только днем, но и ночью, и в самую суровую зиму, они проходили по городам с горящими факелами и знаменами, тысячами и десятками тысяч, возглавляемые своими жрецами, и преклоняли колена перед алтарями. Таким же образом они действовали и в деревнях: леса и горы гудели от голосов тех, кто возносил свои молитвы к Богу. Только меланхоличное пение кающихся было слышно. Враги примирялись: мужчины и женщины соревновались друг с другом в великолепных делах милосердия, как будто боялись, что Божественное всемогущество вынесет им приговор об уничтожении".

Перед этим средневековым спектаклем покаяния разум неощутимо возвращается к древнему ритуалу салийцев на этой же итальянской земле, к их хорическому гимну искупления, к *мольбам* и любовным пиршествам *лектистерниума* более поздних времен.

Под влиянием Черной смерти из рядов флагеллантов возникло Братство Креста, или Крестоносцы, сначала в Венгрии, а затем в Германии. Дитмар^[155] оставил следующий рассказ об их шествиях:

"Их головы были покрыты до самых глаз, взгляд устремлен в землю и сопровождается всеми признаками глубочайшего раскаяния и скорби. Они были одеты в мрачные одежды, с красными крестами на груди, спине и шапке, и несли тройные бичи, завязанные на три или

четыре узла, в которых были закреплены железные острия. Перед ними несли факелы и великолепные знамена из золотой ткани: где бы они ни появлялись, их встречали звоном колоколов, и народ стекался со всех концов, чтобы с преданностью и слезами слушать их гимны и наблюдать за их покаянием".

Когда флагелланты входили в город, они вручали жителям документ, в котором излагался гнев Божий и решимость уничтожить человечество, если бы Дева Мария не заступилась за них. Некоторые из крестов, которые несли флагелланты, до сих пор можно увидеть в Гросс-Глогау, Кайзерсберге и Аммершвайере в Верхнем Эльзасе.

Дух религиозного фанатизма распространился как лесной пожар по Венгрии, Германии, Богемии, Силезии, Польше, Фландрии и даже за пределами этих стран. Осенью 1349 года шесть десятков флагеллантов переправились из Голландии и прошли парадом по улицам Лондона, но метрополия тогда еще не приобрела вкус к шествиям и изгнала их как нежелательных пришельцев. Наконец движение опустилось на недружелюбную почву. Флагелланты были настолько многочисленны, что вызывали обоснованную тревогу у духовенства, в чьи церкви они фактически вторгались и чье влияние грозили вытеснить. Их гимны были на слуху у всех, и один из них, главный псалом крестоносцев, воспроизведен Геккером в его *"Эпидемиях Средневековья"*.

Светские власти также видели повод для тревоги в растущей численности и силе братства, связанного общим ритуалом и общими правилами и способного, под руководством смелых и расчетливых лидеров, оказывать влияние на государственные дела. Император Карл IV обратился к Святому Престолу за защитой от еретиков, и Климент VI ответил на это буллой из Авиньона от 20 октября 1349 года, запрещающей паломничества под страхом отлучения. Филипп VI вообще запретил принимать их во Франции, его примеру последовали и некоторые другие владетельные князья. На смену бездумному почтению вскоре пришли жестокие гонения. Процессии были прекращены, но дух, который их вдохновлял, не умер, и тот же фанатизм вновь вспыхнул в Германии в XIV и XV веках, а в Италии - даже в XVIII, под влиянием сменяющих друг друга чум.

Считается, что Черная смерть, охватившая всю Англию, унесла половину всего населения. Историки рассказывают об освобождении рабочего класса, но мы видим, что она также оставила свой след в образовании, литературе, искусстве и архитектуре Англии.

В сфере образования она в значительной степени способствовала возрождению английского языка в школах. После нормандского завоевания французский язык постепенно стал языком образования: не специально, ведь сам Завоеватель безуспешно пытался выучить английский. Но большая часть образования находилась в руках духовенства, а поскольку многие французы были поставлены во главе монастырей и приходских лечебниц, было неизбежно, что французский станет языком образования и таким образом распространится среди образованной части нации, как французской, так и английской. Примерно в середине XIV века Хигден в своем *"Полихрононе"* утверждает, что французский язык все еще преподавался в школах, и так было со времен Нормандского завоевания. В 1385 году Тревиза, комментируя заявление Хигдена, пишет:

"Этот способ был использован до первого морена [до убийства 1349 г.], и он сохранился до сих пор [с некоторых пор]. Ибо Джон Корнвейл, мастер грамматики, передавал знания [обучение] в области грамматики и строительства [с] французского на английский, а Ричард Пенкрич учился этому мастерству у него и у других людей Пенкрича. Так что теперь, в тысяча триста сорок четвертом году правления второго короля Ричарда после Завоевания, во всех

грамматических школах Англии дети выравнивают французский язык и строят его [на] английском".

Несмотря на принятие французского языка в качестве языка школ, английский сохранился как разговорный язык бок о бок со своим вытеснителем. В конфликте между ними престиж и мода были на стороне французского, традиции и национальность - на стороне английского: рано или поздно баланс должен был склониться на сторону национального языка. Слияние двух языков неизбежно привело к разложению каждого из них, но развращенный французский, во всяком случае после потери Нормандии, не имел под рукой эталона чистоты, чтобы ограничить разложение, в то время как развращенный английский постоянно очищался благодаря контакту с родным языком и существованию донорманнской простонародной литературы. Национальный дух, стимулируемый международными распрями, созрел для завершения задачи, начатой Джоном Корнуэллом в одной-единственной школе в западной части страны; а Черная смерть, сметая прежних учителей и заменяя их другими, выходцами из родных мест, во многом способствовала переменам. Триумф просторечия произвел мощный переворот в нашей национальной литературе, проложив путь для Лэнгленда и Чосера. Томас Уск в прологе к своему *"Завещанию любви"*, законченному не позднее 1387 года, упоминает о полной испорченности привозного французского, а настоятельница монастыря в "Кентерберийских рассказах", хотя и могла говорить по-французски *"ful fayre and festishly"*, говорила на нем только

После стратфордских насмешек над Боу, ибо парижский франт нанимал [ее] неведомо где".

Еще одним непосредственным следствием Черной смерти стало сокращение литературной продукции монастырей до самого низкого уровня. Никого не может не поразить скудость и бесплодность современных хроник, характеризующих период после Черной смерти, и разумное объяснение этой резкой перемены, казалось бы, кроется в пресловутом истощении монастырских хозяйств. Трагедия провансальского братства, в котором только брат Петрарки и его собака остались в живых, чтобы ухаживать и охранять монастырь, нашла отклик в подобном опустошении многих английских монастырей. Особый удар по монастырям, возможно, был нанесен тем, что монахи свободно перемещались среди больных и давали им убежище в своей обители. Больные также часто проявляли несвоевременную благодарность, завещая монастырям свою одежду. Врачи, как заметил Чосер в свое время, были только для богатых.

В Англии, как и в Италии, Черная смерть наложила свой отпечаток на архитектуру, резко прервав реализацию строительных планов. Много таких разрывов можно обнаружить в церковной архитектуре XIV века, и ярким примером тому служат недостроенные башни церкви Святого Николая в Ярмуте.

Приор[156] указывает на аналогичный разрыв преемственности в строительстве Йоркского минстера. Западный фронтон и неф находились в процессе строительства, когда пришла Черная смерть, и в результате на нефе появился импровизированный деревянный свод. Затем строительство хора было отложено на двенадцать лет, до 1361 года, и в его структуре плавные линии декорированного стиля, которые можно увидеть на западном фасаде, уступили место формальной жесткости перпендикуляра.

В Лондоне этот эффект гораздо менее заметен, чем в северных районах Англии, возможно, потому, что в метрополии было легче пополнить запасы каменщиков, чем в других местах. Строительство часовни Святого Стефана в Вестминстере и завершение строительства монастырей аббатства, похоже, продолжалось непрерывно и без изменений в стиле на

протяжении всего периода Черной смерти и последующих лет: то же самое можно сказать и о Глостерском соборе.

Приор считает, что Черная смерть сыграла ведущую роль в вытеснении декоративного стиля перпендикулярным и в распространении последнего из Глостера по всей Англии. Нехватка строителей привела к тому, что каменщики переходили из одного района в другой, удаляясь от условий местного камня, благоприятствовавшего их лучшей работе и оригинальности стиля. В результате неизбежно должен был возобладать архитектурный стиль, который легче всего выразить в любой форме камня, и этим стилем стал перпендикуляр. Примеров такой трансформации в годы, следовавшие за приближением Черной смерти, множество: неф и клуатр Кентерберийского собора, западный фасад Винчестерского собора и другие.

То же стереотипное однообразие, то же постоянное снижение мастерства исполнения, то же очевидное ослабление интереса к ремеслу ремесленника, как это видно в строительстве зданий, проявляется и в фигурной скульптуре и трассировках того периода. Вариативность художественного выражения, которая в течение двух предшествующих столетий неуклонно возрастала, резко прекращается и довольствуется беспрестанным повторением неодушевленных моделей.

Фигурная скульптура^[157] позднесредневековой церкви в таких условиях становилась особенно цеховой, по шаблону, а не из свежих приключений. Она больше не занимала своего места в делах строительного двора, а была предусмотрена - не работала - в здании. Каменщик-строитель оставлял ниши для статуй, иногда обрабатывал боссы предметным рельефом, карнизы - скульптурой "ангела", а горгульи - скульптурой "дьявола". Но эта фигурная работа не была обязательной, и целый величественный архитектурный объект в перпендикулярном стиле мог подняться из земли и вообще не требовать мастерства скульптора-фигуриста. Теперь произведения имажинистов были фактически мебелью, которую можно было купить в городе и в любой момент добавить в здание. Соответственно, статуи и рельефы перестали, согласно практике XV века, высекаться каменщиком непосредственно на здании: они стали внешними работами, не имеющими к нему никакого близкого отношения".

Гаске утверждает, что подобное нарушение преемственности можно наблюдать и в производстве витражей, и что после Черной смерти стиль заметно изменился. Если говорить в целом, то стили витражей соответствуют стилям архитектуры, но в каждом случае они немного более поздние: таким образом, утверждение сводится к тому, что между поздним Декорированным и ранним Перпендикулярным стилями существует необозримый разрыв. Однако нельзя не вспомнить окна перед капеллой Нью-колледжа в Оксфорде и восточное окно Глостерского собора, в каждом из которых очевиден переход от декорированного стиля к перпендикулярному.

ГЛАВА VIII

В течение трех столетий и более после Черной смерти чума была эндемичной по всей центральной и южной Европе, и ее присутствие неизгладимо запечатлено в произведениях современного искусства. Пляски смерти, чумные знамена, вотивные и памятные картины,

реальные изображения сцен чумы - все они молчаливо свидетельствуют о постоянном присутствии врага в воротах. *Memento mori*, с его мрачным предчувствием, был подходящим девизом эпохи. Иннокентий III в своем "*De Contemptu Mundi*" сказал последнее слово о несчастье человеческого существования, о позоре и деградации человеческого тела, загрязненного и оскверненного, задолго до Черной смерти: но отныне мрак, преследовавший душу этого великого преемника Святого Петра, кажется, распространился по всему миру.

Танцы с ранних времен были связаны с представлением о смерти. У многих примитивных рас эти танцы, по-видимому, относятся к миметической магии и призваны ускорить уход духа умершего. И греки, и римляне сохранили танцы в своих похоронных торжествах, а изображения этих похоронных танцев были найдены в связи с греческими и этрусскими гробницами. Обычно это колонна девиц, держащих друг друга за руки, во главе с юношей-корифеем. Анакреон,^[158] Тибулл,^[159] и Вергилий^[160] изображают веселые танцы в стране ушедших душ, и радость является ключевой нотой танца. Христианство, вытеснив язычество, к лучшему или к худшему, привило мрачное представление о смерти, как о наказании, каре за первородный грех. Постоянные эпидемии моровой язвы превратили это представление в представление о неумолимом враге, наслаждающемся подрывом человеческого счастья и тщетностью человеческих дел. Литература эпохи, как и ее искусство, несет на себе отпечаток этой концепции. Петрарка оставил нам "*Триумф смерти*", а Лэнгленд в своем "*Видении Пирса Плаумена*"^[161] подарил нам в стихах "Пляску смерти":

Death came driving after, and all to dust pashed Kynges and Knightes, Kaysers and Popes, Learned and lewde: he ne let no man stande; That he hitte even, stirred never after. Многие прекрасные дамы и их рыцарские рожи плакали и пухли от страха перед смертью".

Самой ранней достоверной картиной, изображающей танец смерти, является та, которую когда-то можно было увидеть в церкви Невинных в Париже, написанная в 1434 году, но маловероятно, что она действительно была первой. Похожий сюжет более раннего времени можно увидеть в Кампо Санто в Пизе. Вазари приписывает ее Андрею Орканьи (1329-68 гг.), но современные критики считают, что она была написана пизанскими художниками около 1350 года. На этой фреске изображены трое молодых людей, преследующих погоню на лошадях. Придя в келью святого Макария, египетского анкорита, они оказываются лицом к лицу с тремя открытыми гробами, в которых лежат скелет и два мертвых тела, напоминающие им о мимолетности человеческих удовольствий. Этот сюжет также заимствован из современной литературы. Под названием "*Les trois Morts et les trois Vifs*" он фигурировал в стихах XIII века и часто иллюстрировался в рукописных "*Горах*" того периода. Есть предположение, что эта легенда является источником названия "*Danse macabre*", или "Танец Макабра", часто используемого в качестве альтернативного названия знакомой "Пляски смерти".



ПЛАТА XIII ПЛЯСКА СМЕРТИ В БАСЛЕ (Лицевая страница 135)

Не в Италии и не во Франции, а, как и следовало ожидать, в Германии и Швейцарии эти "Пляски смерти" нашли наибольший отклик, как и подобает странам, давшим жизнь Лютеру и приют Кальвину. В 1462-3 годах в Любеке свирепствовала чума. В часовне в восточном конце Мариенкирхе находится отреставрированная **"Пляска смерти"**, датированная 1463 годом и демонстрирующая костюмы того времени. Он интересен тем, что значительно старше более известного "Базельского танца".

Самой знаменитой "Пляской смерти" была картина, нарисованная в сарае на церковном дворе доминиканского монастыря в Базеле. Считается, что он был написан в память о чуме, случившейся во время сессии Большого совета Базеля, которая длилась с 1431 по 1443 год. На основании недостаточных доказательств картину приписывают Гольбейну. Она была уничтожена бунтующей толпой в 1806 году, но реликвии фигур в натуральную величину, написанные маслом, до сих пор можно увидеть в Историческом музее Базеля. Существуют также гравюры с подробным изображением персонажей. Гольбейн действительно написал "Пляску смерти" во фресках на стенах старого дворца Уайтхолл, который был уничтожен пожаром 1697 года. Это был подходящий сюжет для кисти художника, которому самому предстояло умереть от чумы (1554 г.). Вероятно, ее упоминает Мэтью Приор в своей *"Оде памяти Джорджа Вильерса"*:

Наш срок жизни не зависит от наших поступков, До нашего рождения наши похороны были предрешиены, Ни провидение, ни случай не ввели нас в заблуждение, Императивная смерть направляет угольное копьё, Населяет гробницы великого Генриха и ведет вверх танец Гольбейна.

Гольбейн почти наверняка был также автором оригиналов лионской "Пляски смерти", с которых Ганс Лютценбергер гравировал ксилографии, представляющие собой

разнообразный набор персонажей всех социальных слоев, среди которых Смерть в гротескном облике исполняет свою мрачную и жуткую задачу.

В любой коллекции картин школы Гольбейна самый случайный наблюдатель не сможет не поразиться количеству картин, на которых изображен тот или иной аспект смерти. В небольшой картинной галерее Базеля есть картина с двумя черепами и берцовой костью работы Амброза Гольбейна: диптих с бюстом молодого человека на одной панели и скелетом на другой, работы Ганса Гольбейна Младшего: еще один диптих XVI века с бюстом девушки на одной панели и бюстом скелета на другой, работы неизвестного художника: и две картины Ганса Бальдунга (a.d. 1475-1545), на одной из которых изображена Смерть, держащая женщину за волосы и указывающая на могилу, а на другой - Смерть, целующая женщину перед открытой могилой.

Чумные знамена, или *гонфалони*,^[162] - характерный продукт умбрийской школы живописи, особенно ее перуджийской ветви. Перуджийским живописцам выпало на долю заниматься своим искусством посреди всевозможных бед. На протяжении пятнадцатого века их страна была опустошена войной и чередой эпидемий чумы (в 1399, 1418, 1429, 1437, 1450, 1456, 1460-8, 1475-80 и 1486 годах). Перед лицом этих бедствий Перуджа решила воззвать к милосердию Христа посредством своего искусства. Всех ее художников едва хватало на то, чтобы обеспечить все знамена, необходимые для искупительных и триумфальных процессий. Именно в такие моменты появлялись *гонфалони*, поднятые между небом и землей, как бы передавая Богу великолепное проявление народного покаяния. Перед податливыми знаменами шествовали священники в своих рясах, за ними шел кающийся народ, ударяя себя в грудь и громко причитая *Misericordia*. При каждом новом нашествии чумы новое поколение художников, начиная с Бонфигли (1420-96 гг.) и заканчивая Бароччо (1528-1612 гг.), было призвано заново создавать эти дары народной преданности. Средство было хорошо приспособлено к их страданиям, так как эти процессии кающихся, пересекающие город и следующие за знаменами, на которых были изображены фигуры Искупителя, Мадонны или других чумных святых, вызывали в их душах такую степень духовного подъема, которая делала уныние невозможным. Люди смотрели на них, как смотрят на медного змея, которого Моисей установил в пустыне. **Поразительным знаменем является картина Бонфигли** в церкви Сан-Фьоренцо в Перудже, написанная в 1476 году во время эпидемии чумы. Над ним коленопреклоненная Мадонна: перед ней стоит Младенец в корзине с розами, которую поддерживают ангелы, одетые в чашечки из роз, как и на большинстве картин Бонфигли. И Мадонна, и Младенец увенчаны коронами. Ниже на коленях стоят группы горожан, мужчин и женщин, с Себастьяном и другими святыми, обращающимися к Мадонне с мольбами. Ангел держит свиток, на котором начертан горячий призыв к покаянию, смешанный с яростным обличением их грехов, в таких словах Лоренцо Спирити:

"О, самые упрямые и злые люди, жестокие, гордые и полные беззакония, которые возложили свою веру и свои желания на вещи, полные смертельных страданий, я, ангел небесный, послан к вам от Бога, чтобы сказать вам, что Он положит конец всем вашим ранам и плачу, вашему разорению и проклятию через посредничество Марии..... Обратите, обратите свои взоры, несчастнейшие смертные, на великие примеры прошлого и настоящего, на полнейшие несчастья и тяжкие беды, которые Небо посылает вам за все ваши грехи: за убийство и прелюбодеяние, за скупость и роскошь..... О несчастные существа, справедливость небес не торопится, но наказывает всегда, как того заслуживают люди..... Ниневия была городом пышным и великолепным, и Вавилон был таким же, но теперь они - ничто; и Содом и Гоморра, посмотрите на них теперь - это болото серы и прелых вод..... Итак, будьте благодарны и признавайте блага и милости нашего Спасителя, и пусть ваши души

горят огнем веры и милосердия, надежды и верной любви..... Но если вы снова станете ленивыми и не захотите отказаться от своих заблуждений, я предсказываю вам второй суд, и я полагаю, что он окажется более ужасным и более жестоким, чем первый".[163]

В подобных знаменах воображение художника находит игру для переполняющих не только его собственное сердце эмоций, но и сердца его сограждан.

Другой тип чумного знамени - "[Мадонна делла Мизерикордия](#)" в церкви Сан-Франческо дель Прато в Перудже, также выполненная Бонфигли. На нем стоит дата 1464 год. В центре стоит коронованная Мадонна, величественная фигура, возвышающаяся, как маяк среди бури, на которую страждущие могут устремить свой взор и надеяться. На ее одежде лежат сломанные стрелы, а под ее широкими складками стоят на коленях группы монахов с одной стороны и монахинь с другой, все в молитвенных позах. В верхней части картины Христос, облаченный в корону и крестообразный нимб, пускает стрелы вниз. По правую руку от него - ангел правосудия с обнаженным мечом, по левую - ангел милосердия с мечом в ножнах. Вокруг Мадонны, прося ее заступничества, собрались святой Лоренцо и епископы Св. Северо, Костанцо и Людовико. Под ними справа - Св. Франциск и Бернардино, а слева - св. Петр Мученик и Святой Себастьян, чье тело пронзено множеством стрел. Эти святые особо хранят Перуджу. У подножия картины изображен город Перуджа с его эмблематичным грифоном на стене. В стенах города на коленях молится братство в белых одеждах. Без них скрывается Смерть, крылатый скелет с луком и стрелами, чьи жертвы устилают землю. Но молитвы возобладали, и вот уже архангел Рафаил поражает Смерть своим копьем. На переднем плане за стенами - бегущая семья, мать верхом на осле, везущая младенцев в панамах. У боковых ворот двое солдат спешат прочь, пока носильщик рассказывает им о состоянии города. Перуджианцы говорят, что лицо Мадонны написал не Бонфигли, а ангел. Они вполне могли бы сказать это об изящной "[Мадонне дель Соккорсо](#)" на чумном знамени Синибальдо Иби 1482 года в церкви Сан-Франциско в Монтоне. Эта фантазия о защищающей Мадонне, расстилающей свои одежды над своими сторонниками, как курица собирает своих цыплят под крылья, заимствована из древнееврейской поэзии. Подобная концепция присутствует в языке девяносто первого псалма: "Скажу Господу: Ты надежда моя и твердыня моя; Бог мой, на Него я уповаю. Ибо Он избавит тебя от ловушки охотника и от язвы шумной. Он защитит тебя под крыльями Своими, и ты будешь в безопасности под перьями Его".



МАДОННА ДЕЛЛА МИЗЕРИКОРДИЯ
БОНФИГЛИ

Фотография Алинари, Рим



МАДОННА ДЕЛЬ СОККОРСО.
АВТОР СИНИБАЛЬДО ИБИ

Фотография Алинари, Рим



ПЛАКАТ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЧУМЫ.
ХРИСТОС И СВЯТЫЕ.
БОНФИГЛИ

Фотография Андерсона, Рим

Еще один плакат с изображением Мадонны требует внимания - плакат Бонфигли из Корчано близ Перуджи, датированный 1472 годом. Оно имеет тот же общий характер, что и его "Мадонна делла Мизерикордия". Причудливый головной убор ангелов, поддерживающих ее одеяние, - это розовый венок, символизирующий Мадонну, который в той или иной форме появляется на многих ее картинах.

Почти во всех этих знаменах, как и в других архаических произведениях, уменьшающийся размер отдельных фигур указывает на то, что им приходится играть меньшую роль. Во многих из них Мадонна заполняет почти всю поверхность знамени.

На другом знамени Бонфигли в церкви Санта Мария Нуова в Перудже фигура Христа в крестообразном нимбе доминирует над изображением. Он держит в руках стрелы моровой язвы, готовые пустить их в народ. Его лицо печально и скорбно, так как Он верно исполняет повеления Отца. По обе стороны от Него святые несут эмблемы Страстей, а справа и слева - потемневшие солнце и луна. Рядом с Ним на коленях стоят Мадонна и францисканец С. Паулинус. В нижней части картины изображены трубы и башни Перуджи, а также вредитель в виде огромной летучей мыши, держащий косу, и Ангел Избавления, поражающий его своим копьем. Внизу, возглавляемые святыми Бенедиктом и Схоластикой, миниатюрные горожане преклоняют колени в молитве.

Еще один тип чумных знамен - те, в которых главную роль играет фигура святого. Святой всегда Себастьян, только потому, что в Умбрии и Тоскане он был главным аккредитованным защитником от моровой язвы. Лучшим примером этого типа является Святой Себастьян из Содомы, описанный выше ([стр. 100-1](#)).

Чумные знамена не были исключительным продуктом Умбрии. Два самых известных - "Святой Себастьян из Содомы" и "Сикстинская мадонна" Рафаэля, написанные в Сиене и Флоренции соответственно, - принадлежат тосканской школе: но только в Перудже и ее окрестностях их можно найти и изучить с пользой для себя. Сикстинская Мадонна, на которой Мадонна с Младенцем присутствуют Святой Сикст и Святая Варвара, была написана во время эпидемии моровой язвы для Черных Братьев Святого Систо в Пьяченце. Нет никаких сведений о том, что она когда-либо использовалась для той цели, ради которой была написана. Бонфигли, в духе Фидия, написал картину "Мария - царица небесная": Рафаэль, в духе Праксителя, написал "Марию Богородицу". Народ хотел царицу, и Рафаэль дал ему крестьянку. Они не могли увидеть в женщине, как видел Рафаэль, воплощение мягкости, одухотворяющей грубое начало в человеке. Они не могли увидеть в материнстве видение добровольного страдания, преобразующегося в радость. Именно это воссоединение искусства с природой свергло чумное знамя с привязанностей простых людей.

Менее значимыми являются чумные знамена работы Бонфигли в Чивителла Бенаццоне, Синибальдо Иби в монастыре Сан-Убальдо в Губбио, датируемые 1503 годом, Джанникола Манни в церкви Сан-Доминико в Перудже, датируемые 1525 годом, и Берто ди Джованни в Перуджском соборе, датируемые 1526 годом. Там их можно увидеть по большей части в виде обрамленных алтарных композиций.

Величайший художник Перуджи, Пьетро Ваннуччи, более известный как Перуджино, погиб во время одной из эпидемий в своем городе. По преданию, он умер, отрицая Спасителя и Мадонну, которых так прославляло его искусство, и его тело было брошено в заброшенную могилу у придорожного дуба. Его сыновья усердно искали тело своего отца, чтобы положить

его в церкви Сант-Агостино, но тщетно, среди многих погибших от чумы. Говорят, однако, что один священник нашел его и похоронил под стенами своей церкви в Фонтиньяно.

Более скромные *Pestblätter*, похоже, играли ту же роль в набожной деятельности отдельных людей, что и *gonfalon* в жизни толпы. Они не были исключительно немецкими, но выходили также из типографий Фландрии, Нидерландов, Италии, а реже и Франции. Живописные *Pestblätter* - это в основном грубые ксилографии или гравюры на меди, в некоторых случаях грубо раскрашенные от руки, и относятся они в основном к последним двум третям XV и первой трети XVI веков. По характеру своих сюжетов они обычно просто набожны и представляют собой некий акт искупления или заступничества от имени человечества. Три ведущих типа тесно связаны с тремя типами *гонфалони* по их тематике:

1. Христос, страдающий Искупитель, на кресте.
2. Заступничество Девы Марии или Христа.
3. Память о мученической смерти особых чумных святых, таких как святой Себастьян, святой Рох и святой Антоний.

И тесно связанные с последним,

4. Заступничество этих особых чумных святых или других святых, чья связь с чумой была более случайной и менее широко известной: таких как святой Квирин, святой Адриан и святой Валентин.

Многие из этих форм сопровождаются соответствующей молитвой или призывом. Иногда религиозный элемент дополняется описанием гигиенических мер предосторожности или мер по исправлению ситуации. Таким образом, набожная часть смешивается с предписаниями, обычно в стихах, о том, как предотвратить мор с помощью изоляции, дезинфекции, мытья или диеты; или как вылечить его с помощью таких мер, как кровопускание или пластыри для ускорения созревания бубонов.

Помимо этих типов, встречается и неживописный тип, почти сродни английскому бродсайду, в котором религиозная цель почти или полностью исчезла, и который излагает в бескомпромиссной прозе указания профилактического или лечебного характера.

Pestblätter возникли не сразу. Во времена моровой язвы часто совершались паломничества к святыням особых святых, и в память об их паломничестве благочестивые люди получали грубые изображения этих святых. Иногда объектом поклонения была какая-нибудь священная картина, которую затем грубо воспроизводили на память. В других случаях они, по-видимому, издавались религиозными общинами в чисто благочестивых целях. Светские издания либо печатались по заказу муниципалитетов, либо были продуктом частного медицинского предпринимательства. Оригиналы *Pestblätter* можно увидеть в ведущих музеях большинства европейских стран. Их подборка была великолепно воспроизведена в портфеле[164] страсбургской фирмы Heitz and Mündel.

Пластина XVII (1) представляет собой гравюру на дереве, напечатанную, вероятно, в Нюрнберге в начале XV века. Всевышний изображен с нарисованным мечом моровой язвы в руке, внутри которого, судя по его окраске в оригинале, изображен розовый венок, символизирующий Деву Марию. В центре - святой Себастьян со своей символической стрелой и ангел, ухаживающий за больным чумой святым Рохом. Ниже приведена молитва, обращенная к этим двум святым.

На пластине XVII (2) изображен Вседержитель с валами моровой язвы в руках. Коронованная Мадонна укрывает под своим одеянием своих сторонников, среди которых есть высокопоставленные лица Церкви. Внизу группа святых ходатайствует перед Богородицей с Младенцем и святой Анной. Все это окружено поясом Богородицы, перевитым венком из роз.

ПЛАТА XVII (между страницами 142 и 143)



1. ВСЕМОГУЩИЙ С
СС. СЕВАСТЬЯНОМ И РОХОМ

ПЛАТА XVII (между страницами 142 и 143)



2. ВСЕМОГУЩИЙ, МАДОННА И СУППЛИАНТЫ. ДЕВА С МЛАДЕНЦЕМ, СВЯТАЯ АННА И ПОМОЩНИКИ

Святой Антоний - излюбленная фигура этих *пестблаттеров*. В Германии он более тесно связан с чумой и мором, чем в Италии. Он также покровительствует эризипеласу, известному как "огонь святого Антония", который в долистерианские времена часто сопровождался эпидемиями. Обычно его изображают с крестом, на котором он был распят, с костылем, символизирующим его преклонный возраст и немощь, и с колоколом для изгнания нечистой

силы. В проездной колокол изначально звонили не только для того, чтобы просить молитв за душу усопшего, но и чтобы отпугнуть от нее злых духов. Свинья, сопровождающая святого Антония, - эмблема дьявола, искушения которого он успешно отражал. Даже в отсутствие самого святого Антония часто изображается его крест в виде греческой буквы Т, иногда с прибитым на нем Христом. Благодаря этой ассоциации святого Антония с крестом, стало принято обращаться к нему, как и к распятию, во время моровой язвы.

Ассоциация свв. Квирина, Адриана и Валентина Руфакского с чумой носит чисто местный и случайный характер. Святой Квирин был прежде всего покровителем подагриков, а святой Валентин - эпилептиков, так что к эпилепсии применялось название *Veltins Krankheit*. Святой Адриан держал под своей особой защитой фламандских пивоваров, а более почетное покровительство больным чумой было лишь более поздним дополнением.

Очень большое количество картин посвящено конкретным случаям чумы и было написано во исполнение обетов, данных Мадонне и святым об избавлении от чумы. Многие из них уже рассматривались в связи с легендами и культами Св. Себастьяна и Роха, которым они были посвящены. Но в гораздо большей части этих изображений центральной фигурой является Мадонна (см. пластины XI и XII). Иногда ее сопровождают Св. Себастьян и Рох, а также другие святые. Добавленные святые - это, как правило, особые покровители города, за которых была принесена благодарственная жертва. Иногда это святые-покровители братств, для которых они были написаны. Иногда к картинам уместно добавляются особые медицинские святые - Косма и Дамиан. Примеры можно увидеть практически в любой галерее итальянских картин. В Брере Сима де Конильяно (ок. 1460-1518 гг.) написал Мадонну с младенцем и святыми Иоанном Крестителем, Себастьяном, Магдалиной и Рохом, причем у последнего на внутренней стороне правого бедра видна резаная рана. Характер картины может служить убедительным доказательством ее происхождения и назначения.

На картине Тициана, хранящейся в Ватикане, изображены Мадонна с Младенцем во славе, а святые Себастьян, Николай, Катарина, Петр и Франциск - сопровождающие их святые. Эта картина была написана Тицианом после прекращения эпидемии чумы в Венеции для францисканской церкви Сан-Николо-де-Фрари.

Мадонна ди Сан-Себастьяно" Корреджо, на которой она изображена в сопровождении Св. Себастьян и Рох, а также святой Джеминиано, покровитель Модены, была написана в 1515 году в память о чуме, опустошившей город тремя годами ранее.

Еще одна картина Гвидо Рени (1574-1642 гг.), хранящаяся в Академии в Болонье, была написана по заказу болонского сената после чумы 1630 года. Ее пронесли в торжественной процессии по городу на освящение, и от этого обстоятельства она получила название "Паллионе дель Вото". Радуга под ногами Мадонны и оливковая ветвь в руке младенца Христа означают возвращение мира. Сопутствующие святые - особые покровители Болоньи: святой Петроний, святой Франциск, святой Доминик, святой Прокул, святой Флориан, святой Игнатий и святой Франциск Ксаверий.

Картину Рафаэля "Мадонна из Фолиньо", хранящуюся в Ватикане, некоторые считают картиной чумы из-за ее общего характера и огненного шара, падающего на город Фолиньо. Однако Рафаэль написал картину в 1512 году, в тот самый год, когда, согласно записям, на Фолиньо упал аэролит: вероятно, картина посвящена спасению какого-то человека или учреждения. В Фолиньо была катастрофическая чума, но только в 1523 году, и она была изображена на ужасной картине Гаэтано Гандольфи из Болоньи (1734-1802 гг.), которая сейчас находится во дворце Корсини в Риме.

Чудотворные Мадонны в изобилии встречаются в Италии, но, как правило, не представляют особого художественного интереса. Приятным исключением является "Мадонна с младенцем", которая висит на трибуне церкви Кармине в Перудже. Она была установлена в память об избавлении Перуджи от чумы по молитвам перуджинских кармелитов: при каждом повторении чумы она становилась объектом народного обожания. Раньше она была покрыта марлевой вуалью, которая загорелась и была уничтожена, но сама Мадонна избежала каких-либо следов повреждений.

Мадонна из Ара Козли и Мадонна из Санта Мария Маджоре считаются избавительницами от чумы и моровой язвы в Риме.

Во Флоренции тоже есть своя чудотворная Мадонна в маленькой деревушке [Импрунета](#). Эта темная панель, почерневшая и истлевшая с годами, была найдена, как гласит легенда, в земле Импрунеты, издав крик, когда лопата рабочего ударила по ней. Редко или никогда не выставляемая на обозрение благочестивых людей, она подверглась унижительному воздействию вездесущего фотографа. В начале лета 1527 года во Флоренции разразилась чума. 2 июня был устроен грандиозный праздник в честь Благовещенской Девы, чтобы убедить ее помочь Содружеству в его бедах. Но в июле и августе смертность возросла до 150-200 человек в день, а осенью - вдвое, так что все дела зашли в тупик, а город казался пустынным. Тогда правительство решило прибегнуть к помощи Черной Девы Импрунеты, к которой Флорентийское Содружество так часто обращалось в различных кризисных ситуациях своей истории. О ней Сегни^[165] говорит: "К этой Божьей Матери наш город никогда не обращался публично, в какой бы крайности ни находился. Это не легкая и не глупая вещь, которую я здесь утверждаю: ведь во время засухи она всегда посылала дождь; в периоды наводнений она возвращала нам хорошую погоду; от моровой язвы она удаляла яд; и в каждой самой тяжелой болезни она находила соответствующее средство". Так Черную Деву привезли из Импрунеты, и магистраты Флоренции, "босые и в трауре, приняли ее у ворот города и понесли в торжественной и очень печальной процессии в церковь Сервитов". За ноябрь месяц умерло сорок тысяч горожан. Но неизменная Дева Импрунета одержала верх и в этом случае. С наступлением холодов болезнь пошла на убыль. И таким образом вера флорентийцев в свое очарование была подтверждена как никогда". Черная Дева до сих пор охраняет Флоренцию во время засухи. Читатели "*Ромолы*" наверняка помнят и другую волнующую процессию Импрунетской Девы, в которой Савонарола вызывающе шествовал среди своей компании черных и белых доминиканцев.

По всей Франции и Италии можно увидеть множество картин, запечатлевших служение местных или местночтимых святых во время моровой язвы. Такова картина Тьеполо в соборе в Эсте, на которой изображен [святой Текла, освобождающий Эсте от чумы](#). Подобные картины занимают промежуточное положение между группой вотивных изображений и группой реальных сцен чумы, самым ранним представителем которых является Рафаэль (ок. 1483-1520).



ДЕВСТВЕННИЦА ИМПРУНЕТА



ПЛАСТИНА XIX С. ТЕКЛА ОСВОБОЖДАЕТ ЭСТЕ ОТ ЧУМЫ

Джованни Баттиста Тьеполо.

Фотография Найи, Венеция (Лицевая страница 147)

Рисунок Рафаэля "Чума", [166], хранящийся сейчас в галерее Уффици во Флоренции, сильно поизносился со временем. Картина разделена на две части головой бога Терминуса, установленной на возвышенном постаменте. Справа - ночь, но в вертикальном разрезе показан интерьер дома скорби. Во дворе дома молодой человек с факелом в правой руке подсчитывает количество убитых животных, а левой не дает одной из овец подойти к мертвым. Овца лежит мертвая, к ее иссохшему вымени привязан ягненок. Лежащий бык печально наблюдает за происходящим. Над этим усыпанным трупами двором поток света, проникая в глубь комнаты, освещает фигуры двух сестер милосердия, которые прислуживают умирающему хозяину дома: он распростерт на постели, лежа в густой тени - тени надвигающейся смерти. Кажется, что он отворачивается от них и отвергает их помощь.

В другой части картины - день, и при дневном свете повсюду видны сцены страдания, смерти и запустения. На переднем плане лежит тело женщины, распростертой в смерти, а ее ребенок пытается дотянуться до ее ледяной груди. Отец поспешно нагибается, чтобы отнять ребенка, и при этом закрывает нос и рот рукой, чтобы уберечься от заразы. Позади этой группы пожилая женщина в ужасе отворачивается: перед ней старик в муках скорби прижимает лицо к цоколю статуи, а молодой человек в панике убегает. На заднем плане сломанные колонны и труп лошади усиливают безысходность сцены.

Изображение сцены Рафаэлем, при всей ужасности ее деталей, скорее вызывает жалость, чем ужас. Он держит равновесие между ужасной реальностью чумы и искупительной духовностью человеческой природы. Сострадание и страдание стоят рядом. Бык пассивно жалеет себе подобных, в то время как сестры стремятся к активному служению своему роду.

В чертах лица и поведении ребенка Рафаэль запечатлел преданность, которая не умирает со смертью. Глубочайшая нота пафоса затронута в облике старика в центре картины, чьи седые волосы печально спускаются в могилу.

Утверждают, что на создание картины с мертвой матерью и ребенком Рафаэля вдохновила реальная запись Амбруаза Паре, но поскольку Паре родился всего за три года до смерти Рафаэля, это утверждение теряет свою актуальность.

Долг Рафаэля, похоже, восходит к Аристиду Фиванскому, который процветал около 340 года до н. э. Плиний^[167] упоминает о его картине, которая так впечатлила Александра Македонского при разграблении Фив, что он забрал ее себе и приказал отправить в Пеллу. По словам Плиния, на картине была изображена раненая мать, лежащая на пороге смерти, и ее младенец, прильнувший к ее груди. В выражении ее лица написан страх, чтобы ребенок не взял кровь из ее груди, так как молоко иссякло.

Рисунок Рафаэля был гравирован Марко Антонио Раймонди под названием "Il Morbetto". В книге Делаборда *"Марк-Антуан Раймонди"* он воспроизведен под названием "Песте де Фриги", поскольку на постаменте начертаны слова Вергилия:

Linquebant dulces animas aut aegra trahebant corpora.^[168]

В этом кратком описании моровой язвы Вергилий преследует не более чем поэтический эффект. Оно введено лишь для того, чтобы переполнить чашу бед троянских странников, и сжато в несколько строк. Троянский флот только что достиг суши: Эней заложил фундамент нового города, и Илиум должен был снова жить в Пергаме. И тут разразилась чума.



ТАБЛИЧКА XX ЧУМА.

РИСУНОК РАФАЭЛЯ

(Лицевая страница 148)

Iamque fere sicco subductae littore puppes; Connubiis arvisque novis operata iuventus,
subito cum tabida membris, corrupto caeli tractu, miserandaque venit arboribusque satisque lues
et letifer annus. linquebant dulces animas aut aegra trahebant corpora; tum steriles exurere Sirius
agros; arebant herbae, et victum seges aegra negabat.

Едва ли стоят суда, причаленные к берегу, И, склоняясь к браку, молодые люди стремятся
Возвести новые поселения, пока я каждому Должный закон даю и жилище предоставляю.
Когда из запятнанной четверти неба Звонящие пары, собираясь, на товарищей моих
налетают, И пагубный мор сползает с высоты На смертные конечности и стоящие посевы и
деревья, В сезон черный от смерти, и беременный болезнью.

Сладкая жизнь из смертных ушла: они поникли и умерли. Свирепый Сириус испепелил поля,
и травы и зерно были иссушены, и в пище отказывали истощенные посевы". (Фэрфакс
Тейлор.)

По сути, это набросок голода, который Рафаэль не собирался изображать, когда брал эту
линию. Конечно, сестры милосердия не стали бы фигурировать во фригийской чуме за
тысячу лет до нашей эры!

Кроме картин, до XVI века сохранилось несколько медалей, посвященных чуме: их иногда
выбивали в качестве средства духовного утешения. Часто на них встречались изображения
Христа на кресте или змея на шесте. Образец, представленный здесь ([Plate I \(4\)](#)), -
виттенбергский талер 1528 года. На нем изображены эти два устройства на
противоположных сторонах медали, каждое из которых снабжено описательной легендой.

Пятнадцатый век в Италии завершался на фоне эпидемий. Пинтор, личный врач папы
Александра VI, оставил книгу, в которой рассказывает, что *morbis Gallicus* впервые появился
в Риме в марте 1493 года и унес множество жертв к августу 1600 года. Затем, после
наводнения на Тибре в декабре 1495 года, чума свирепствовала в Риме. Пинтор утверждает,
что прикосновение к некоторым драгоценным камням считалось особым средством. В 1493
году чума свирепствовала также в Генуе и Неаполе. В последнем городе смертность достигла
20 000 душ. Генуэзский хронист Сенерага объясняет вспышку чумы в Генуе загрязнением
берега трупами евреев, которые нашли там убежище после изгнания из Испании в 1492 году,
но умерли от голода на окраинах негостеприимного города. Еврейские писатели утверждали,
что в Испании была чума, которую беглецы перенесли на своих кораблях в Италию.
Большинство изгнанных евреев нашли убежище от преследований Креста под защитой
Полумесяца - в Константинополе, Салониках, Леванте и Северной Африке. Именно эта
масштабная эпидемия изгнала Карла VIII Французского из Флоренции, Рима и Неаполя почти
сразу после того, как его армия вошла в них.

ГЛАВА IX

На протяжении шестнадцатого века эпидемии чумы следуют друг за другом почти непрерывной чередой по всей Центральной Европе. Только в Риме в течение этого столетия произошло не менее двенадцати тяжелых вспышек. Архивы Капитолия и реестры современных нотариусов^[169] изобилуют разрозненными сведениями об этих визитах. Уже стало привычным, что при первых признаках эпидемии Папа и его двор должны были бежать из Рима в безопасное место, оставляя муниципалитет обеспечивать ситуацию по мере сил. В мае 1449 года Николай V бежал в Умбрию: в 1462 году Пий II последовательно бежал в Витербо, Больсене и Корсиньяно. В 1476 году Сикст IV подобным образом переезжал с места на место. Поэтому в апреле 1522 года, в разгар эпидемии, казалось, что все было в соответствии с прецедентом, когда Адриан VI из своего безопасного уединения в Испании прислал в Рим сообщение о необходимости введения нового налога для поддержки крестового похода против турок. Кардиналы, по-видимому, хотели подражать примеру Адриана, так как в июне городской совет попросил Священную коллегия не оставлять своих постов. Покинутые своими духовными лидерами, жители с готовностью внимали самозванству греческого некроманта Деметрия из Спарты. Он убедил перепуганных людей, что чума - дело рук демонов и что, умиротворив их, можно положить ей конец. Он прошелся по улицам города, ведя за шелковый шнур быка, которого, по его словам, он приручил с помощью заклинаний, и принес его в жертву враждебным демонам в Колизее с полным языческим ритуалом. Как только духовенство осознало всю чудовищность святотатства, которому оно потворствовало, оно организовало покаянную процессию, которая прошла по городу, бичуя себя до крови и восклицая *Misericordia*. Если верить Паоло Джовио, главному врачу Климента VII (1523-34 гг.), чуме положили конец не молитвы и не жертвы, а чудесное масло, изобретенное Грегорио Каравитой, врачом из Болоньи. Ораторий дель Крокифиссо, расположенный рядом с церковью Сан-Марчелло, как говорят, был воздвигнут в память об этом событии. Чума продолжалась, по крайней мере, до следующего года, 1523 г. н.э., и Бенвенуто Челлини^[170] подробно описывает свои впечатления от нее. По его словам, она продолжалась несколько месяцев, и ежедневно в Риме умирало несколько тысяч человек. Испытывая неестественные опасения на свой счет, он решил прибегнуть к таким развлечениям, которые способствовали бы душевной бодрости, которую многие считали лучшим средством против инфекции. Поэтому он занялся стрельбой по голубям среди древних памятников Рима и нашел это занятие настолько полезным для своего здоровья, что ему удалось надолго избежать чумы, которой подверглись многие его товарищи. Но несколько позже, проведя ночь с молодой служанкой, он сам стал ее жертвой и записал свои первые ощущения следующим образом:

"Я встал в час прерывания поста, почувствовал усталость, так как прошел много миль за эту ночь, и хотел было принять пищу, как вдруг меня охватила сокрушительная головная боль: на левой руке появилось несколько нарывов, а также карбункул, показавшийся чуть дальше ладони левой руки, где она соединяется с запястьем. Все в доме были в панике: моя подруга, корова [Фаустина] и теленок [подавальщица] - все убежали. Оставшись там наедине с моей бедной маленькой воспитанницей, которая отказалась покинуть меня, я почувствовал, что у меня защемило сердце, и я окончательно решил, что я покойник".

Благодаря постоянному уходу друга-мужчины и помощи лекаря, которого вызвал ученик, Бенвенуто избавился от болезни, но, пока бубон оставался открытым и затыкался ворсинками под пластырем, отправился кататься на маленьком диком пони. Рассказ Бенвенуто ценен как запись личных ощущений и страданий больного чумой человека, а также повествует нам о лечении, которому он подвергался в руках медицины XVI века.

Бенвенуто рассказывает, что радостное воссоединение выживших после окончания чумы привело к тому, что некий Михаил Аньоло, скульптор, создал клуб, в который вошли все ведущие художники, скульпторы и ювелиры Рима. Заседания клуба, судя по его описаниям, были посвящены скорее веселью, чем художественным дискуссиям. По возвращении во Флоренцию он обнаружил, что его отец и большинство домочадцев умерли, а оставшаяся в живых сестра Липарата, полагая, что он умер в Риме, упала в обморок при виде его. Но под смягчающим влиянием ужина, за которым свадьбы были главной темой разговоров, печаль быстро сменилась весельем.

Марселиус Галеати из Падуи в начале XV века составил первый известный свод правил против чумы, основанный на убеждении, что болезнь была завезена в Италию иностранной торговлей.

Из записей города Рима можно составить некоторое представление о мерах, принятых папой и городским советом для подавления эпидемий чумы. Там предпринимались попытки изолировать зараженных людей или районы. Вся одежда и другие материалы и предметы, способные распространять инфекцию, подлежали уничтожению. Городские ворота были закрыты, а каждый прибывший подвергался строгому досмотру и часто отбраковывался. Те ворота, которые оставались открытыми, можно было использовать только с рассвета до ночи, когда они запирались от всех желающих. Судоходство по Тибру иногда пресекалось; Ланчиани рассказывает, что 30 июля 1575 года был издан приказ о том, что все лодки на Тибре должны быть снесены в три дня, потому что было обнаружено, что лодочники переправляют пассажиров через реку за взятки. Двоих нарушителей за их проступок фактически поставили на дыбу, о чем на них была вывешена табличка для всеобщего обозрения. В одном случае было предпринято массовое уничтожение сушеной рыбы. Договорная медицинская практика, похоже, существовала даже в те времена. Лансиани отметил среди городских записей соглашения между врачами или шарлатанами и римскими семьями о предоставлении медицинских консультаций и лекарств за оговоренную денежную плату. Завещания часто диктовались из окон, а адвокат и свидетели стояли на улице под ними.

Конфракции для ухода за больными и доставки их в больницы существовали в Риме, хотя, возможно, и в меньшем количестве, чем в других крупных городах Италии. Братство *Пьеты* было учреждено во время эпидемии чумы, во времена Евгения IV (1431-47), и до сих пор номинально существует в Риме.

Чума вновь вспыхнула в Риме в 1527 году, во время разграбления города. В эту же эпидемию была вовлечена и Флоренция. Именно это посещение породило *"Описание чумы в Фиренце в 1527 году"* Макиавелли, написанное в форме письма к другу. В нем мы не находим ярких картин ужасной катастрофы, охватившей Флоренцию, а вместо них - хладнокровно-циничным отчет о банальных делах бездельника, праздно прогуливающегося по улицам охваченного чумой города. Это запись, вызывающая сравнение скорее со случайными записями *"Дневника"* Пеписа, чем с формальными описаниями Бокаччо и Мандзони, его собственных соотечественников. Начав с бесплодных бездушных причитаний в духе Петрарки по поводу всеобщей деморализации и опустошения, вызванных чумой, он переходит к описанию своего повседневного образа жизни, из которого его корреспонденту предлагается сделать вывод об образе жизни всего населения города. *Связи* развратных монахов, гнусная рибаллия позорных могильщиков, тщетное обращение к консервантам против чумы - вот что занимает его мысли, когда он изображает свои собственные любовные интриги на мрачном фоне чумы, с верностью Пэписа и легкомысленной беспечностью Ги де Мопассана.

Виллари, Маколей и другие отказались признать "*Descrizione*" подлинным произведением пера Макиавелли. Они не могут примирить его болтливую непристойность с суровой хладнокровной сдержанностью автора "*Принципа*" - легкомыслие одного с мужественностью другого. Кажется, они забыли, что еще в 1502 году, среди бурной жизни в лагере Цезаря Борджиа, он находил досуг, чтобы писать подобные пакости своим друзьям во Флоренции. Политическая прямота, или, если мы не можем приписать это Макиавелли, политическая проницательность, не является гарантией моральной праведности, а чувственность не является исключительным достоянием молодых. Нравственное легкомыслие, как показывает история моровой язвы, - обычный продукт постоянной неизбежности опасности и смерти; а с Макиавелли политическая деградация оставила нравственное легкомыслие в исключительном владении.

Копия дискредитированного произведения до сих пор существует в почерке Макиавелли, с правками, вставленными в рукопись его другом Лоренцо ди Филиппо Строцци. Виллари выдвигает странное предположение, что Макиавелли просто переписал то, что сочинил Строцци. Не разумнее ли предположить, что Макиавелли использовал подлинное письмо Строцци в качестве основы для случайного сочинения? Это объясняет тот факт, что сочинение написано в эпистолярной форме, а также очевидное несоответствие стиля. Франческо Берни (ок. 1490-1536), современник Макиавелли, апострофировал чуму в одной из своих сатирических поэм, или *капитолий*. Будучи священнослужителем, для которого праздное наслаждение было идеалом и смыслом существования, он, несомненно, стоит особняком среди писателей, как тот, кто обнял бы чуму как друга.

Время моровой язвы - это хорошо - фи́га для других времен..... Во-первых, он уносит с собой сброд, уничтожает его, проделывает в нем дыры и прореживает его, как домохозяйка среди гусей во время прилива! В церквях нет никого, кто мог бы на вас давить. Кроме того, никто не ведет учет покупок и займов. Да, покупайте и делайте долги, ибо не будет у вас кредиторов, чтобы беспокоить вас. А если придет кредитор, скажите ему, что у вас болит голова, что у вас болит рука, он сразу же уйдет, и не вернется к нему! Если ты выйдешь на улицу, никто не перейдет тебе дорогу: скорее уступят тебе место и окажут тебе честь, особенно если ты одет в лохмотья. Ты господин себе и господин другим. Вы можете наблюдать за странными выходками людей и смеяться над чужим страхом. Жизнь обретает новые законы: любое удовольствие разрешено..... Прежде всего, не нужно работать. Это жизнь по выбору, безмятежная и большая: время проходит очень весело от обеда до ужина".[171]

В 1530 году в Женеве свирепствовала чума,[172], которая запомнилась тем, что послужила поводом для обвинения некоторых лиц в распространении болезни с помощью придуманных ядов. Весной того года один беспутный молодой человек, некто Майкл Каддод, был замечен бросающим платок возле лавки. Кто-то подобрал его, и его дурной запах вызвал подозрение. Каддода немедленно подвергли пыткам, и в своих мучениях он уличил Жана Пласе, неквалифицированного хирурга, заведовавшего избой-читальней, а также свою жену, сына, слугу и некоего Дом-Жана Дюфура, священника и духовника этой избой-читальни. Под пытками их заставили признаться, что они торжественно поклялись на Часослове присоединиться к распространению чумы, чтобы иметь возможность грабить больных. Пласет и его жена, по их словам, приготовили яд из припарки, которую использовали при выделении пузырей, высушив ее до состояния порошка и добавив вератрум. Каддод и его жена взялись распространять его по улицам, а Пласет и его жена вводили его пациентам в доме для душегубов, что быстро привело к летальному исходу. Подозрение пало на Пласета, и парикмахеру-хирургу Бастиану Гранже с его помощником было поручено следить за его делами. Мадам Пласет не осталась равнодушной и подсыпала паре яд в еду. В конце концов

Пласет и Каддод были осуждены. Сначала им отрубили руки перед домами их предполагаемых жертв. Затем их плоть была жестоко разорвана раскаленными щипцами, и, наконец, топор старосты положил милосердный конец их страданиям. Возраст молодого Пласета позволил ему обойтись без повешения, а Дюфур был сначала лишен ордена, а затем повешен. После столь приемлемой жертвы чума быстро пошла на убыль.

Через несколько лет, в январе 1545 года, повторение чумы в Женеве вновь подняло призрак очередного чумного заговора. На этот раз судебный исполнитель приказал арестовать двух человек, Бернара Даллинге и Жана Лентилия. Они якобы отрезали ногу у трупа, упавшего с виселицы, и использовали ее в качестве ингредиента чумной мази, которой намазывали ручки дверей. К марту признания, полученные от них под пытками, позволили вовлечь в преступление не менее сорока человек. Всех обвинили в том, что они поклялись распространять болезнь по радио и на самом деле мазали дверные ручки и замки. При обыске у них были найдены коробки с мазями. Повальное увлечение ношением с собой противоязвенных средств облегчило дело, но при всем том их вина была очевидна. Кальвин в письме от 27 марта 1545 года, адресованном Миконию, вроде бы признает их вину, но государственные записи Женевы показывают, что он милосердно выступал за удушение вместо калечения и костра. Как и в случае с Серветусом, его волновала не столько их смерть, сколько способ их умерщвления. Десять мужчин и семь женщин - возможно, католики - воспользовались его милосердием и были казнены без предварительных пыток. В *"Нюрнбергской хронике"* говорится, что в 1494 году из Нюрнберга были изгнаны все нищие, поскольку считалось, что они распространяют чуму.

Руководители медицины были не более свободны от побуждений фанатичного страха, чем люди. Амбруаз Паре^[173] повторяет грубые подозрения, которые Ги де Шольяк высказывал во времена Черной смерти. Вот его совет магистратам во время моровой язвы: "Что мне добавить? Они должны следить за некоторыми ворами, убийцами, отравителями, хуже, чем бесчеловечные, которые смазывают стены и двери богатых домов веществом из бубонов, карбункулов и других выделений больных чумой, чтобы заразить эти дома и таким образом получить возможность врваться в них, грабить и раздевать, и даже душить бедных больных в их постелях, что и было сделано в Лионе в 1565 году. Боже! Какого наказания заслуживают такие люди, но это я оставляю на усмотрение магистратов, в чьем ведении находятся подобные дела".

В качестве профилактического средства Паре рекомендовал носить амулет из мышьяка. Его нужно было носить над сердцем, чтобы "сердце привыкло к яду и меньше страдало, когда его ищут другие яды".

Пандемия 1565 года послужила толчком к созданию так называемых пьес-мистерий и пьес-чудес, особенно на юго-востоке Франции. Пьесы-мистерии в большинстве своем были направлены на изложение центральных тайн Нового Завета, таких как Воплощение, Рождество, Страсти и Искупление. Пьесы-мистерии касались легенд о великих святых церкви, но на практике различие между мистериями и мистериями стало игнорироваться в пьесе. Целью каждой из них во время чумы было умиротворить разгневанного Бога, прославив его величие либо напрямую, либо через святых. Происхождение и основная цель этих пьес почти наверняка были образовательными, для обучения населения, не способного читать самостоятельно: они возникли из богослужения христианской церкви. Христианство, принятое в качестве государственной религии, нанесло смертельный удар по порочным зрелищам в амфитеатре, которые были всем, что сохранилось от древней классической драмы. Христианству также было суждено стать родителем современной драмы, поскольку не позднее пятого века нашей эры оно ввело в общественное богослужение живые картины,

иллюстрирующие и разъясняющие его учение. Из этого простого литургического начала развились и мистерии, и пьесы чудес. Трансформация произошла, по крайней мере, уже в двенадцатом веке, а к 1380 году в присутствии Карла IV была поставлена полноценная пьеса-чудо.

Сменяющие друг друга эпидемии чумы привели к принятию этих пьес в качестве инструментов заступничества, а пандемия 1565 года дала большой толчок этому развитию. Когда в 1564 году район Маурьенн оказался в тисках чумы, жители поклялись представить в следующем году пьесу "Чудо" своего покровителя святого Мартина, если только их город будет спасен. Не менее семидесяти четырех актеров, все из рабочего класса, посвятили себя изучению и репетициям различных частей пьесы. Деньги, как и время, были предоставлены в свободном доступе, поскольку люди сами взяли на себя расходы на постановку, декорации и музыку. Недавно опубликованные примечания к пьесе показывают, что сцена была возведена у стены церкви. Позднее, когда контроль над постановками перешел из рук церкви в руки светских ассоциаций, пьесы стали показывать вдали от церквей, что открыло путь к секуляризации драмы путем введения нерелигиозной атмосферы. Эта пьеса написана на диалекте и рассчитана на два дня представления. В первом представлении центральной темой была жизнь святого Мартина как солдата, во втором - его жизнь как епископа, и вместе с ней были показаны некоторые его чудесные исцеления.

Эта пьеса - лишь одна из многих, которые были недавно опубликованы: примеру Сен-Мартен-де-ла-Порта последовали и другие города. Виллар-ле-Ланс дал обет и сыграл "Мистерию страстей" и "Чудо святого Себастьяна": Модан - "Тайну Страшного суда": Терминьян и Сольер - "Чудо святой Лорансы" и так далее. Местные авторы, обычно священник или нотариус, составляли различные пьесы.

В Виллар-ле-Ланс находится часовня святого Себастьяна. В ней нет окон, а дверной проем вырублен в скале. В 1446 году она была подготовлена как театр для представления пьесы-мистерии. Но после чумы 1565 года она была превращена, во исполнение обета одного богача, в часовню, украшенную фресками, иллюстрирующими историю святого Себастьяна. Фрески сохранились до наших дней и были полностью описаны месье архивариусом де Жюссеном.

Если верить местной легенде, Страстная игра в Обераммергау имела схожее происхождение в 1633 году. Некий Гаспар Шулер, уроженец Обераммергау, но живший в Эшенлоэ, где свирепствовала чума, решил нанести поспешный и тайный визит своей жене и детям. Он так и сделал, и занес чуму в Обераммергау, где и умер от нее сам. Между днем его смерти и праздником свв. Симона и Иуды, тридцать три дня спустя, от чумы в Обераммергау умерло восемьдесят четыре человека. Было созвано собрание жителей, и шесть женщин и двенадцать мужчин дали торжественный обет каждые десять лет ставить пьесу о страданиях Христа. Они были вознаграждены немедленным прекращением чумы.

ГЛАВА X

На протяжении четырнадцатого и двух последующих веков Венецию постоянно посещала череда эпидемий чумы. Такова была цена, которую она была обречена платить за

наслаждение восточной торговлей. Стоя на месте встречи Востока и Запада, пока торговля Востока шла на Запад через Сирию и Египет, Венеция не знала соперников, кроме Генуи, пока в Константинополе не появились турки, чтобы бросить вызов ее господству. Чума и торговля в равной степени проходили через Венецию на пути в страны Центральной и Северной Европы. Чума была в некотором смысле мерилom венецианской роскоши, и с потерей этой роскоши количество ее чумы уменьшилось.

У Венеции было два основных морских торговых пути,^[174] один на восток и один на запад, и два сухопутных пути на север.

Первый морской путь пролегал по Адриатическому морю, мимо Ионических островов и вокруг мыса Матапан до Крита, где разделялся на четыре ветви: (а) на север к Дарданеллам, Константинополю, Черному и Азовскому морям; (б) вдоль берегов Мореи и через Эгейские острова к Дарданеллам; (в) к портам Малой Азии, Смирны и Алеппо, Кипра, Сирии, Александретты и Бейрута; (г) к Александрии и Египту. Эти две последние ветви связывали Венецию с караванными путями, которые вели из Ормуза на Персидском заливе в Алеппо и Бейрут, из Суэца в Александрию, а в дальнем конце проникали в сердце Азии, Персию, Индию и Китай.

Второй морской путь пролегал через Адриатику на запад до Сицилии, где разделялся на два ответвления: (а) в Тунис, Триполи и порты Испании; (б) через Гибралтарский пролив на север до Англии и Фландрии, связывая Лондон и Брюгге с востоком.

Сухопутные пути из Венеции в Центральную Европу большей частью лежали за пределами венецианской территории. Один проходил через долину Ампеццо на север к Пуштерталью и далее к Инсбруку и Мюнхену; другой - вдоль По к Брешии и Бергамо, а затем через озеро Комо и перевал Спрюген к Констанцу. Из Констанца торговые пути расходились во все части Северной Европы.

Знание этих маршрутов необходимо для понимания той ведущей роли, которую сыграли Венеция и Констанц в переносе и распространении чумы.

Открытие Капского пути на восток в 1486 году стало смертельным ударом для торговой монополии Венеции. Торговые пути шаг за шагом переместились из Средиземноморья в Атлантику, а корабли Венеции - на корабли португальцев, испанцев, англичан и голландцев.

История чумы в Венеции в значительной степени записана в ее публичных памятниках: остальное рассказывают ее архивы. В Венеции практически нет собственной литературы: два-три патриотических дневника, и все. Ее Ренессанс не дал урожая литераторов: живопись и архитектура выжали из нее все силы. Художники соперничали с архитекторами, чтобы написать ее историю на холсте или в камне, не для удовольствия частных покровителей, а для украшения города, в котором они родились.

В 1410 году чума охватила Венецию и Кьоджию. В 1423 году очередная эпидемия была завезена с востока. Именно этот визит заставил венецианцев основать на острове Санта-Мария-ди-Назаретто приют для зараженных людей и товаров. Он снабжался продовольствием, лекарствами и медицинским обслуживанием за счет доходов от продажи соли. Это было первое подобное учреждение в Европе, но оно быстро привело к созданию других в других местах.

Правительство Венеции никогда не опускало руки, когда чума подступала к его дверям. Еще во времена "черной смерти" они назначили трех дворян *провизорами* для борьбы с этим бедствием. В 1468 году к ним добавили по два жителя от каждой *сестьеры*, а в 1485 году эта

комиссия была преобразована в постоянный Совет по здравоохранению. Таким образом, к концу XV века Венеция организовала и оснастила эффективную систему защиты от постоянно повторяющихся вспышек чумы.

Второй лазаретто был создан во время чумы 1576 года на острове Сант-Эразмо, и в том же году Республика вызвала профессоров медицины из Падуи - Джироламо Меркуриале и Джованни Каподивакка - для определения болезни, и не было вины Республики в том, что они объявили, что это не чума.

Любопытным свидетельством взаимного влияния религии и терапии друг на друга является установление карантина в сорок дней, поскольку именно столько времени Христос жил отдельно в пустыне.

Венецианские врачи в большинстве своем, похоже, теперь исправились и преданно посвятили себя служению больным. В книге, изданной в Венеции в 1493 году, *Fasciculus medicus Johannis de Ketam*, врач Пьетро да Фоссиньяно изображен навещающим больного чумой. Прощупывая пульс, он подносит ко рту и ноздрям губку, смоченную в каком-то противоязвенном аромате. Смерть Пьетро около 1400 года н. э. помогает установить дату этой простой клинической меры предосторожности. В более поздние годы для врачей была разработана специальная чумная одежда, которую Франция переняла из Италии и с которой сохранилось несколько гравюр, сделанных примерно во время марсельской чумы 1720 года (см. с. 206-8). Амбруаз Паре рекомендует использовать в качестве материала камлет, саржу, атлас, тафту или сафьян, но не сукно, фризу или мех, которые могут содержать яд и нести смерть здоровым людям.

В Венеции также была своя уличная скорая помощь в лице братства Сан-Рокко, созданная для доставки больных в больницу и умерших на погребение. Их услуги были крайне востребованы во время чумы. Образец рабочей одежды ордена до сих пор можно увидеть в сокровищнице Скуолы Сан-Рокко. Это свободный белый хлопковый комбинезон с цельнокроеными рукавами. На каждой стороне груди - овальный значок из белого атласа, вышитый красным шелком и окантованный красным кружевом. На одной из них шелком вышита фигура Христа, на другой - Сан-Рокко с собакой. На талии он перевязан шнуровым поясом из белого хлопка с богато украшенными хлопковыми кисточками на каждом конце. Глубокий пикообразный капюшон из того же материала полностью закрывает голову, имея лишь прорези для глаз. Костюм завершают белые кожаные перчатки. Подобное платье носили многие благотворительные братства Центральной Италии, его можно увидеть на нескольких сиенских картинах (см. пл. VIII). Его современный аналог - операционная одежда асептического хирурга, но по причудливому повороту вихря времени его цель уже не в том, чтобы не пускать инфекцию, а в том, чтобы не пускать ее внутрь.

Гильдия Сан-Рокко появилась по крайней мере в 1415 году, но только в 1478 году правительство получило разрешение на создание братства под штандартом Сан-Рокко. Первым местом его собраний стала церковь Сан-Джулиано, но в 1485 году гильдия взялась за строительство церкви для хранения тела святого, которое некоторые венецианцы тайно вывезли из Монпелье. Пяти лет хватило, чтобы достроить церковь, и тело святого было положено в ней с большой торжественностью. Драгоценной реликвии суждено было принести огромный престиж своим владельцам. Из пяти великих благотворительных гильдий Венеции гильдия Сан-Рокко была, безусловно, самой большой. С 1516 года и до конца Республики каждый дож был зачислен членом, наряду со многими богатейшими купцами Венеции. В этом году братья решили возвести дом собраний, примыкающий к церкви, который должен был стать дополнительным украшением города. Так в 1517 году

Бартоломмео Бон начал строительство Скуолы, а в 1550 году Антонио Скарпанино завершил его.

Во время строительства Скуолы первоначальная церковь Сан-Рокко была признана ненадежной, и ее перестроили, но не в ее нынешнем виде, который не старше 1725 года. В 1559 году конфедерация доверила ее украшение Тинторетто, и до сих пор в редких случаях, когда хватает дневного света, можно увидеть четыре картины, в которых художник решил проиллюстрировать жизнь святого. Это (1) Святой Рох в больнице; (2) Святой Рох, исцеляющий животных; (3) Взятие святого Роха; (4) Явление ангела святому Роху в тюрьме. Небольшая картина, висящая у придела, - "Предательство Христа" Тициана - получила все почести, которые должны были быть оказаны предметам Тинторетто: действительно, подношения, сделанные этой "чудесной" картине, позволили гильдии перестроить свою Скуолу. В эту церковь ежегодно 16 августа приходил дож, чтобы молить святого Роха отвести чуму от Республики.

В 1560 году растущее богатство гильдии побудило ее вызвать на конкурс ведущих живописцев Венеции, чтобы украсить залы Скуолы. Андреа Скьявоне, Федерико Дзуккарро, Джузеппе Сальвиати, Паоло Веронезе и Тинторетто было предложено подготовить рисунки и представить их судьям в назначенный день. В то время как остальные лишь набросали эскизы, Тинторетто закончил законченную картину "Святой Рох во славе", которая теперь занимает центральную часть потолка трапезной. Чтобы еще больше закрепить свой успех, Тинторетто подарил картину гильдии. С этого времени и до 1588 года оформление Скуолы составляло основную часть работы Тинторетто. К началу 1566 года он закончил великолепное "Распятие" в трапезной верхнего зала, и по завершении работы его приняли в Конфедерацию и назначили ежегодную субсидию в 100 дукатов (около 50 фунтов стерлингов) в оплату за три законченные картины в год. Здесь, во всяком случае, он нашел простор для проявления неистощимой фантазии: но те, кто пытался изучать росписи Скуолы, смогут оценить трудности, которые ему приходилось преодолевать из-за недостатка света, который, как и в церкви, делал картины невидимыми только в самые яркие дни.

Как Микеланджело в Сикстинской капелле, так и Тинторетто заранее продумал всеобъемлющую и гармоничную схему украшения всех залов. Ключевым моментом всего этого является посвящение Скуолы Сан-Рокко, покровителю больных чумой, а также тех, кто их обслуживал. Поэтому картины в верхнем зале представляют акты милосердия и избавления, проиллюстрированные в земной жизни Христа. Восемь картин в нижнем зале, представляющие в основном историю Девы Марии и ее младенца Сына, являются, таким образом, подходящей прелюдией к верхней серии. Джованни Маркиори и его ученики точно продолжили эту схему в двадцати сюжетах из жизни святого Роха, вырезанных в обшивке верхнего зала. Большая лестница, соединяющая два зала, украшена фресками со сценами чумы работы Дзанчи (1666) и Негри (1673), не имеющими особых художественных достоинств. Еще один памятник чуме сохранился в рядах деревянных стандартных ламп, установленных вокруг верхнего зала, которые братья несли в процессиях в честь своего святого покровителя.

Тинторетто все еще работал в Скуоле, когда на Венецию обрушилась страшная чума 1575-7 годов, которая унесла Тициана в могилу, не дожив до его столетнего юбилея. В то время как других спешили похоронить в общих чумных ямах Сант-Эразмо и на отдаленных островах, тело старика, принесшего Венеции столь великую славу, было удостоено чести публичных похорон по приказу синьории. После упокоения его перенесли в прекрасную готическую

церковь Санта Мария Глорियोа деи Фрари, одели в знаки императорского рыцарства, пожалованные ему Карлом V, и положили в гробницу у подножия Крестового алтаря. Здесь Тициан спит последним сном, не помня, надо надеяться, о бесчинствах в мраморе, нанесенных его памяти Фердинандом I Австрийским, руками Луиджи и Пьетро Зандомеги. Старший сын Тициана умер вместе с ним, а второй сын, Помпонио, миланский каноник, поспешил в Венецию, как только убедился, что опасность миновала, и быстро растратил состояние, накопленное художником благодаря бережливости и труду всей жизни.

В течение трех лет чума опустошала Венецию, унеся с собой не менее 50 000 душ, четверть всего ее населения. Дож Луиджи Мочениго на протяжении всего времени проявлял максимальное мужество и преданность. Он сам руководил всеми усилиями по борьбе с чумой и лично ухаживал за больными. Он отправился в торжественной процессии со всеми конфедератами Венеции в церковь Сан-Рокко, чтобы дать обет возвести еще одну церковь, если только святой будет ходатайствовать за них. Как Киприан и Григорий до него, он обратился к своему народу со словами утешения и ободрения в святилище своей соборной церкви. Но Луиджи уже не было в живых, когда настал день, когда его преемник созвал жителей Венеции к собору Святого Марка, чтобы исполнить клятву Луиджи.

Представьте себе Венецию в одно июльское воскресенье под безоблачным небом. С кафедры собора Святого Марка престарелый патриарх возвещает об избавлении города от чумы. Из цветного мрака церкви процессия выходит на ослепительную площадь. Вся Венеция в сборе: Венеция в ликующем настроении. Собор Святого Марка, Герцогский дворец, Кампанила и все здания вокруг пестрят коврами и гобеленами, картинами и позолоченными щитами. С колонн Теодора и Льва на свежем морском бризе развеваются знамена великолепных цветов. Среди диких криков людей, грохота пушек и звона колоколов процессия катится к Пьяццетте. Перед ней лежит лагуна, простирающаяся до Сан-Джорджо Маджоре и до Лидо за его пределами, сверкающая и переливающаяся в лучах солнца, как какая-то великая сверкающая драгоценность. Кажется, что Бог и человек объединили свои усилия, чтобы создать самое прекрасное место на земле. От Пьяццетты до Джудекки перекинут лодочный мост длиной около полумили. По мосту движется процессия.^[175] Гильдии и конфедерации, выставя свои штандарты и неся кресты, изображения Мадонны и святых, реликвии, возглавляют шествие, за ними следуют магистраты, дворяне и их дамы. Далее следуют патриархи, церковные сановники и каноники в своих рочетах, монахи с песнопениями под знаменами своих четырнадцати орденов, духовенство, облаченное в богатые копты, расшитые золотом и усыпанные драгоценностями, под своими одиннадцатью знаменами. Последним, в сопровождении сенаторов и послов, прибывает дож Себастьяно Веньер, герой Лепанто, благородная фигура, облаченная в белые одежды, с великолепной мантией из серебряной парчи, свисающей с его плеч. Во временном деревянном оратории, построенном неподалеку от места, где по планам Палладио должна была возвышаться церковь Реденторе, в этот день служили мессу под музыку Джузеппе Зарлино из Кьоджи, главного музыканта дожа. Звуки этого ликующего дня дошли до нас из глубины веков и до сих пор слышны на ежегодной июльской *Феста дель Реденторе*, когда процессия проходит по лодочным мостам из Сан-Дзобениго в Дзаттере и из Дзаттере в Джудекку, лишившись, однако, большей части своего бывшего великолепия. На месте деревянной каланчи теперь стоит церковь Палладио, чумазое пятно на лице природы. Тем не менее Теофиль Готье увидел красоту в ее облике в свете заходящего солнца. Внутри нет ни картин, ни памятников чуме, которой она обязана своим существованием. Венецианская медаль, на которой изображен дож со знаменем Святого Марка, преклонивший колени перед Христом, посвящена этой чуме.

Кроме Сан-Рокко и Реденторе, в Венеции есть и другие церкви, посвященные чуме; самая старая из них - Сан-Джоббе, церковь и монастырь, построенная в середине XV века (1462-71) дожем Кристофоро Моро, другом Сан-Бернардино, и посвященная Иову из Писания, который был поражен всеми болезнями. Над главным алтарем когда-то висела знаменитая картина Джованни Беллини, хранящаяся сейчас в Академии, с изображением Мадонны с Младенцем, сидящей между святым Иовом, святым Иоанном Крестителем, святым Себастьяном, святым Франциском и святым Людовиком Тулузским. Венеция принесла культ святого Джоббе вместе с чумой с востока: он почти не известен в других местах Италии.

Всего несколько лет спустя (1506-18 гг.) для ордена Святого Иеронима была построена еще одна чумная церковь - Сан-Себастьяно - двумя архитекторами, Ф. да Кастильоне и А. Скарпаньино. Это место захоронения Веронезе, которому принадлежит большая часть его декора. Потолки церкви и ризницы украшены его картинами в глубокой позолоченной лепнине. Над главным алтарем находится "Апофеоз святого Себастьяна", которому на небе явилась Мадонна, а также святые Марк, Иероним, Иоанн Креститель и Катарина Александрийская. Слева от алтаря находится знаменитое "Мученичество Марка и Марцеллина" Веронезе.

Во время строительства этой церкви Джорджоне умер от чумы. На четвертом и тридцатом году жизни он безумно влюбился в молодую женщину, и когда ее настигла чума, он все еще наносил ей тайные визиты, и, унося болезнь с ее губ своими поцелуями, он заплатил за свою любовь жизнью.

Последней, но самой известной из всех, является церковь Санта Мария делла Салюте, начатая Бальдассаре Лонгеной в 1632 году в память о чуме 1630-1 годов, которая унесла 46 490 человек в Венеции и 94 235 во всех лагунах. Дождь Никколо Контарини дал обет построить церковь в честь Мадонны здоровья, если она избавит республику от чумы. Во время строительства на участке земли, подаренном республике рыцарями-тамплиерами, была возведена временная деревянная оратория, и дождь, совет, вельможи и народ перешли через Большой канал по мосту из лодок, чтобы послушать торжественную мессу. В ризнице церкви Лонгены хранятся две гравюры XVII века, на одной из которых изображена процессия, пересекающая понтонный мост, а на другой - как она wpłyает в церковь. Каждый год в ноябре процессия отправляется от собора Святого Марка, пересекает Гранд-канал по маршруту Реденторе и огибает церковь до входа, обращенного к каналу. Современная Венеция превратила торжественное действо в ярмарку. На этих гравюрах церковь изображена в ее нынешнем виде - на платформе, расположенной на вершине большой лестницы, ведущей вверх от Большого канала, но на вершине ее большого купола вместо Ангела Чумы установлена статуя Мадонны.

S. Мария делла Салюте содержит множество памятников чуме. Над главным алтарем находится тяжелая группа мраморных статуй работы Джустино и Корто. В центре сидит Мадонна с Младенцем на руках, у ее ног - херувимы. С одной стороны на коленях стоит женщина, молящая ее о помощи: с другой - херувим с горящим факелом изгоняет чумного демона в человеческом облике.

В своде хора находится потолочная роспись Фьямминго, изображающая Венецию, молящую об избавлении от чумы.

В ризнице находится картина Тициана "Святой Марк со святым Себастьяном, святым Рохом, Космой и святым Дамианом", посвященная чуме 1512 года, в которой погиб Джорджоне (см. [пл. IX](#)). Здесь же находится вотивная картина Марко Басаити (вторая половина XV века) со святым Себастьяном, прекрасная фигура на фоне красивого умбрийского пейзажа, но не

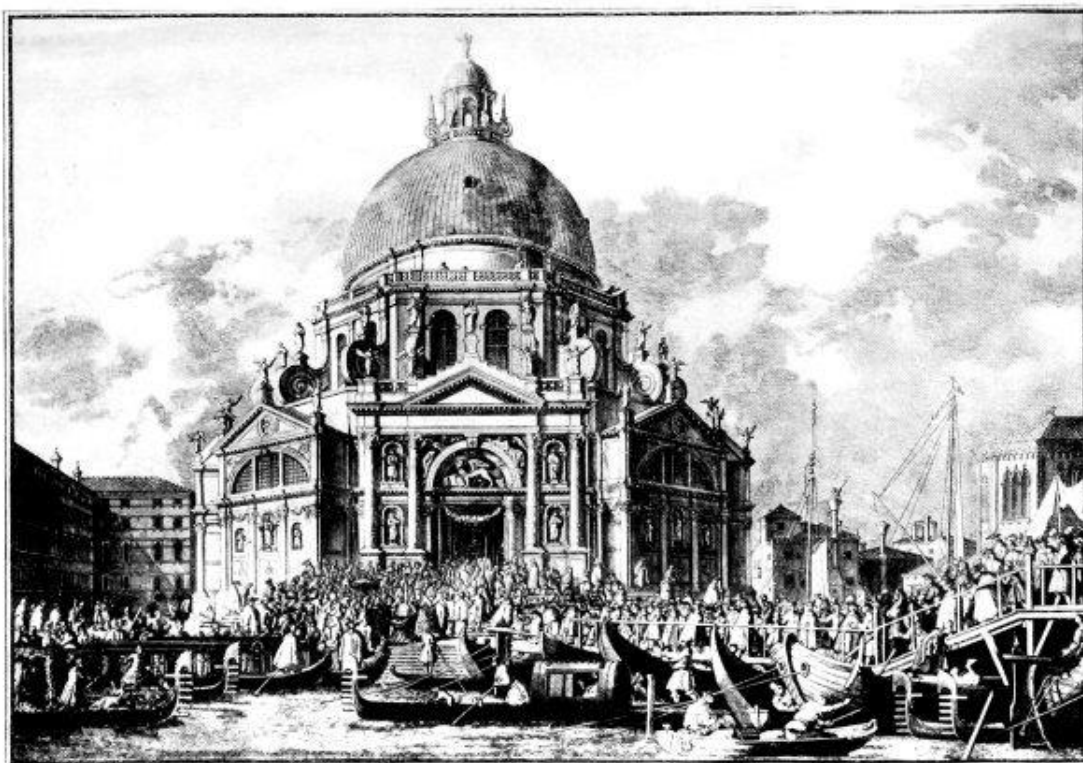
ровня содомскому святому: и еще одна картина со святым Рохом, святым Себастьяном и святым Иеронимом работы Джироламо да Тревизо (1497-1544).

ГЛАВА XI

Милан пострадал от Черной смерти гораздо меньше, чем другие города Италии: возможно, он приобрел временный иммунитет. На протяжении трех последующих столетий его история представляет собой один длинный каталог чумы, из которых две заслуживают особого внимания.

В 1576 году чума разразилась в конце июля. В то время архиепископом был Карло Борromeо. Сын Гиберто Борromeо, графа Ароны, и Марии Медичи, Карло происходил из знатного рода. Благодаря своему влиянию он в раннем возрасте получил миланское архиепископство. При всем своем богатстве его личная жизнь была упорядочена сдержанностью и смирением. Суровый, или, как говорят некоторые, жестокий, чтобы выследить и пресечь все злоупотребления, которые вторглись в церковь в его епархии, он заслужил ревнивую неприязнь своего духовенства и религиозных орденов. Братья смирения открыто покушались на его жизнь, но он чудом спасся от них. Карло находился в Лоди, когда до него дошли вести о том, что в Милане началась чума. Поспешив в город, он обнаружил, что губернатор, многие чиновники и все богачи разбежались. Все погрузилось в хаос. В отчаянии люди обратились к своему духовному отцу и поручили ему заботу о городе. Он сразу же принялся за работу, приспособив большую больницу святого Григория для приема больных, а затем построил шесть деревянных лазаретов за стенами. Все они были оборудованы и обставлены бельем из его собственного дворца. Для лучшего управления он разделил город на четыре квартала и поставил над каждым надзирателя со штатом помощников. Его пример мужества и личной преданности привлек многих светских священников, монахов и монахинь к служению больным. Даже светские мужчины и женщины организовали между собой гильдию медсестер. Сам Карло ездил повсюду, давая указания по размещению больных и погребению мертвых. Он посещал даже те приходы за стенами, где свирепствовала болезнь, обеспечивая больных, кормя нуждающихся и побуждая духовенство к верному исполнению своего долга. Вскоре к моровой язве добавился голод. Борromeо собрал всех обездоленных в лагерь и организовал поставки продовольствия. Сначала он переплавил все свои серебряные пластины, чтобы получить необходимые деньги. Когда они закончились, он выпрашивал их от двери к двери и в конце концов впел в огромные долги под свою личную охрану. Помимо материальной помощи, Карло Борromeо принес пострадавшим миланцам духовное утешение в виде религии. С кафедры своего собора он читал им "Плач Иеремии", показывая, как он применим к Милану. С алтарных ступеней он дрожащим голосом распевал покаянные псалмы и, преклонив колени перед алтарем, приносил себя в жертву Богу за свой народ. По улицам города он шествовал во главе покаянных процессий с босыми ногами и веревкой преступника на шее. Но через все это он прошел невредимым, сам и восемь с двадцатью сопровождавшими его священниками. Всего 17 000 человек умерло в Милане и 8 000 - в окрестных районах: то, что из такого огромного количества больных умерло так мало, объясняется служением архиепископа.

Когда путешественник спускается с Альп, огибая берега Лаго-Маджоре, где сады весной сияют камелиями, магнолиями, мимозой и миртами, лишь одна особенность размывает безупречный пейзаж. На хребте, высоко над озером в Ароне, возвышается на своем пьедестале статуя Карло Борromeо - бессмысленный, бездушный колосс из меди и бронзы, насмехающийся над небом. В путеводителе написано, что вы можете подняться внутрь ее тела. Если вы сделаете это в жаркий день, то сможете узнать кое-что о страданиях Фалариса, зажаренного в брюхе своего собственного наглого быка. Но, возможно, вам лучше остаться внизу и молиться, чтобы в вашу душу вошло что-то от духа ои Борromeо.



ТАБЛИЧКА XXI ПРОЦЕССИЯ В СОБОРЕ МАРИИ ДЕЛЛА САЛЮТЕ, ВЕНЕЦИЯ

С гравюры XVII века (Лицевая страница 172)

ПЛАТА XXII (Лицевая сторона стр. 173)



КАРЛО БОРРОМЕО.
АВТОР АННИБАЛЕ КАРРАЧЧИ

Религия канонизировала [святого Карло Борromeо](#); искусство обеспечило ему бессмертие. В церквях и галереях Милана он фигурирует как святой покровитель чумы, иногда один, иногда вместе со святым Рохом. В Венеции он уступает место Святому Роху, во Флоренции - Святому Себастьяну. В некоторых районах Центральной Италии С. Карло появляется вновь, часто в сопровождении местных святых, ходатайствуя перед Мадонной. В церкви Сан-Доминико в Перудже он изображен вместе со святой Катариной Сиенской, обращающейся с мольбой к Богородице. В церкви Сан-Карло-ин-Корсо в Риме вместе со святым Амвросием он ходатайствует перед Христом, а другая картина в той же церкви представляет его апофеоз.

Памятники Борромео бесчисленны. В ризнице Миланского собора хранится изображение в натуральную величину в митре и рясе, выполненное из кованого серебра: позолоченный деревянный крест, на котором рельефно вырезаны различные эмблемы Страстей, который он нес в чумных процессиях, а также вышитый шелком портрет его в митре. В соборе Карло Катинари в Риме хранится одна из его митр и часть веревки, которую он носил как недоуздок.

Под полом Миланского собора, под куполом и перед хором, находится капелла Карло Борромео. Его останки покоятся в серебряном гробу, опирающемся на серебряный алтарь, каждый из которых искусно выгравирован и украшен чеканкой. В шестиугольной камере вся поверхность стен покрыта пластинами из серебра, на которых изображены рельефы, представляющие ряд сцен из его жизни. На одном из них он раздает милостыню больным чумой: на втором - крестит детей в чумной больнице; на третьем - идет с обнаженными ногами и головой, с недоуздок на шее, в чумной процессии, предшествуя святым мощам, которые несут под балдахином.

Портреты Св. Карло в Милане, в соборе, во дворце Борромео и в других местах, все в профиль, показывают выдающийся нос и покатый лоб, а также степень уродства, которая, казалось бы, почти запрещает зачисление в каталог святых. Суровый портрет Аннибале Карраччи (1560-1609) в анфас, хранящийся сейчас в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, кажется менее диссонирующим с нимбом.

Пьетро да Кортоне (1596-1669) написал картину с изображением [Борромео во главе чумной процессии](#), которая является одной из лучших в своем роде. Сейчас она находится над алтарем Сан-Карло Катинари в Риме, но скрыта от посторонних глаз медным символом лучей славы.

Знакомая тема бесчисленных картин в Италии и Франции - Карло Борромео, несущий Таинства больным чумой. Среди наиболее известных - работы Якоба ван Ооста (ле Вье) (1600-71) в Лувре, Лемонье в музее Руана, Чиголи (1559-1613) в церкви Санта-Мария-Нуова в Кортоне, Франческо Госсси в церкви Повери в Болонье и Бальдассаре Франческини в церкви Варнавитов в Пешии.

Фламандский художник Гаспар де Крейер (1585-1669) несколько разнообразил избитые черты сюжета. На его картине Карло Борромео в красном епископском одеянии, за которым следуют два аколита, несущие лампаду и крест, наклоняется и предлагает Таинство умирающему, который стоит перед ним на коленях с перевязанной головой и распахнутой рубашкой на голой груди. Позади мужчины стоят две женщины, одна из которых поддерживает его тело, а другая в тени дверного проема несет в руке стакан с водой. Рядом с мужчиной на коленях, с молитвенно сложенными руками, ожидает Таинства маленький мальчик: на переднем плане лежит мертвый ребенок. Перед этим маленьким трупом на земле сидит мужчина, поддерживая голову, его ноги голые и покрыты язвами. Позади него стоят две женщины, одна из которых закрывает рот платком, а другая протягивает руки к сопровождающему дьякону, раздающему милостыню. На заднем плане - улица Милана с видом на открытую местность.



БОРРОМЕО
ВО ГЛАВЕ ЧУМНОЙ ПРОЦЕССИИ

Пьетро да Кортона



БОРРОМЕО, ХОДАТАЙСТВУЮЩИЙ ЗА
БОЛЬНЫЕ ЧУМОЙ

Мраморный барельеф работы П. Пюже

Пюже (1622-94) изобразил тот же сюжет на [мраморном барельефе](#), который сейчас находится в Сенте в Марселе. Борромео стоит на коленях в искренней мольбе среди группы мертвых и умирающих. Его взгляд устремлен на крест, который несут херувимы. Его

сопровождают аколиты, которые несут крест и потир, а ребенок цепляется за его одежду. На переднем плане осужденный тащит труп для погребения. На заднем плане женщина в диком отчаянии склоняется над кроватью, на которой распростерт мертвец.

В 1630 году случилась Великая миланская чума, хорошо известная многим по описанию Мандзони (1785-1873) в его *Promessi Sposi*. Для получения информации он опирался на многие источники, и не в последнюю очередь на современные записи каноника Рипамонти, написанные по заказу магистратуры в качестве дополнения к его "Истории Милана".

На титульном листе этого тома, посвященного чуме, помещена эмблематическая гравюра. Скелет держит в руках оружие, доспехи, кости и книги, нанизанные друг на друга. Пальцы его ног выступают из-под ковра, на котором лежит больной чумой человек. Перед скелетом находится алтарь, на котором стоят тапер и распятие. Рядом с алтарем сидит женщина, в правой руке у нее меч, левая рука обнимает аиста: рядом с ней - обнаженный ребенок. На фронтоне алтаря - название книги: "Josephi Ripamontii, Canonici Scalensis Chronistae Urbis Mediolani, De Peste Quae Fuit Anno clolcscxxx Libri v, Desumpti Ex Annalibus Urbis Quos LX Decurionum Autoritate Scribebat.

В своей "*Истории зараженной Колонны*", опубликованной в 1840 году, Мандзони рассказал о суде и наказании двух *Унтори*, обвиненных в распространении чумы с помощью мазей. Дом одного из них был разрушен по приказу государства, а земля, на которой он стоял, объявлена проклятой. На ней в 1630 году был воздвигнут каменный столб со следующей надписью:[\[176\]](#)

"Здесь, где простирается этот участок земли, раньше находилась лавка цирюльника Джанджакомо Мора, который сговорился с Гульельмо Пьяцца, комиссаром здравоохранения, и другими, пока страшная чума свирепствовала, с помощью смертельных мазей, распространяемых со всех сторон, бросить многих горожан на жестокую смерть. За это сенат, объявив их обоих врагами своей страны, постановил, чтобы, поместив на возвышенную машину, их плоть разрывали раскаленными щипцами, отрубали правые руки и ломали кости; чтобы их растягивали на колесе, а по истечении шести часов предавали смерти и сжигали. Затем, чтобы не осталось никаких следов этих виновных, их имущество должно быть продано с публичных торгов, а прах брошен в реку; и чтобы увековечить память об их деянии, сенат завещал, чтобы дом, в котором было совершено преступление, был снесен с лица земли и никогда не был восстановлен, а на его месте была воздвигнута колонна, которая будет называться "Бесславная". Держитесь подальше, добрые горожане, чтобы эта проклятая земля не осквернила вас своим позором. Август 1630 года".

Это проклятие места напоминает проклятие Иисуса Навина[\[177\]](#) на месте Иерихона после его взятия: "Проклят пред Господом человек, который восстанет и построит город сей Иерихон: он положит основание его в первенце своем, и в младшем сыне своем поставит ворота его". И Конституции Моисея[\[178\]](#) произносят подобное проклятие над городами, которые отступают от истинной религии.

В 1777 году граф Пьетро Верри, государственный советник на службе Марии Терезии, опубликовал трактат "О пытках", в котором особое внимание уделялось этому делу, произошедшему в Милане в 1630 году. Однако его работа увидела свет лишь в 1804 году. Затем в 1839 году в Милане был издан "*Процесс о происхождении дельи Унтори в 1630 году*", в котором приводится полный официальный отчет о суде над этими Аноинтерами. В 1895 году Флетчер обобщил свидетельства из всех источников в своей "*Трагедии о Великой миланской чуме*".

Рано утром 21 июня 1630 года некая Катарина Роза, женщина из низших слоев общества, увидела с балкона своего дома человека, который шел по улице и писал на листе бумаги. Он остановился, чтобы вытереть пальцы о стену одного из домов, вероятно, чтобы избавиться от чернильных пятен, но страх женщины сразу же вызвал суеверный образ смертоносной мази, которой намазывают стены, чтобы распространить чуму. Толпа взволнованных женщин стекалась в зал Совета, чтобы сообщить об этом Сенату, который тут же приказал арестовать мужчину. Отныне никто не смел прикасаться к стенам. Рипамонти рассказывает о судьбе трех молодых французских путешественников, которые, любясь мрамором одного из храмов, невольно решились дотронуться до него. Кто-то увидел, как они это делают, и поднял тревогу. После этого на них зверски набросились и бросили в тюрьму, и освободили только после того, как выяснилось, что нет ни малейших улик, указывающих на что-то, кроме невинного любопытства.

В другой раз было замечено, как восьмидесятилетний старик, прежде чем сесть, вытирал плащом пыль на скамейке в церкви Святого Антония. Женщины тут же закричали, что он помазывает скамейки, а прихожане набросились на него в церкви и после избиения жестоко потащили в магистрат. Рипамонти считает, что он умер от полученных травм.

В результате поисков подозреваемого Аноинтера был арестован некий Гульельмо Пьяцца, подьячий, носивший на поясе чернильный рожок. Он также был комиссаром здравоохранения, то есть мелким чиновником, который должен был сообщать о случаях чумы. На протяжении двух пыток он упорно отрицал свою вину, но в своей камере, сломленный страданиями и опасаясь возобновления пыток, он поддался на уговоры окружающих. Он признал свою вину и заявил, что получил смертельную мазь от цирюльника Джанджакомо Мора. Этого человека сразу же арестовали и доставили в суд, но там он горячо отстаивал свою невиновность и клялся, что никогда не видел Пьяццу. Однако под пытками он сдался и вместе с несчастным Морой стал придумывать небылицы. Среди прочих они впутали в это дело графа Падилью, сына коменданта замка, но в конце концов его оправдали, и именно из записей его суда Верри почерпнул материал для рассказа о Пьяцце и Море.

Мора, как и большинство цирюльников его времени, занимался медициной, поэтому в его лавке были найдены баночки и сосуды с лекарствами. Он утверждал, что в них содержатся консерванты от чумы, и, вероятно, это было правдой, поскольку во время эпидемий чумы они пользовались большим спросом. Амбруаз Паре приводит сложную формулу консервирующей воды, которой нужно было часто мыть тело и полоскать рот, а также закапывать несколько капель в ноздри и уши. Подобные нострумы пользовались большим спросом во время Великой чумы в Лондоне и в Марселе в 1720 году.

Пьяцца иногда посещал магазин Мора как клиент цирюльника, и оба утверждали, что Мора взял на себя обязательство приготовить для Пьяццы горшочек своего консерванта. На этой невинной сделке должно было быть построено обвинение в оптовом убийстве. Под пытками Мора был вынужден признать, что Пьяцца поставлял ему пену изо рта жертв чумы для смешивания со своей мазью.

В перерывах между пытками Мора и Пьяцца не раз отступали и заявляли, что их признания были ложными, но возобновление пыток вскоре побуждало их отказаться от своих слов. Невежественная свирепость населения требовала удовлетворения. По окончании допроса несчастные жертвы были уведены для исполнения страшного приговора, несмотря на обещание безнаказанности. Перед милосердной перспективой смерти они открыто заявили,

что все их признания, уличающие других, были ложными и были получены от них под страхом дальнейших пыток.



ТАБЛИЧКА XXV ПЫТКИ И КАЗНЬ АНОИНТОВ

(Лицевая страница 179)

В конце "*Processo originale degl' Untori*" находится сложенная пластина, изображающая во всех деталях казни Пьяццы и Мора. Это грубая репродукция старой недатированной гравюры, которую Флетчер воспроизвел с копии, хранящейся в коллекции медицинских гравюр и эстампов в библиотеке Управления генерального хирурга в Вашингтоне. Гравером гравюры был Орацио Колombo, и она была опубликована в Риме по поручению нунция Римской коллегии.

В верхней части гравюры находится ее название, которое можно перевести так: "Приговор, вынесенный тем, кто отравил многих людей в Милане в 1630 году". Флетчер прилагает следующее описание: "Далее следуют имена Великих, которые заседали в суде, и подробности вынесенного наказания". Каждая сцена на картине имеет свою букву, которая упоминается в пояснительной легенде ниже. Полное пренебрежение к единству времени и места, характерное для подобных произведений, хорошо видно на этой любопытной гравюре. Справа - лавка цирюльника Мора, а перед ней уже воздвигнута "Колонна бесчестия". На большой платформе, запряженной двумя волами, выставлены жертвы, палачи и священники. В мангале с живым углем лежат щипцы, которыми должны были разрывать плоть. Правая рука цирюльника лежит на колодке, а по запястью, зажатому в ней, вот-вот ударит молотком, поднятым палачом. Дальше видна большая платформа, на которой двум жертвам ломают конечности железным прутот, готовя их к шестичасовому воздействию на колесо. Также показаны колеса, одно из них уже на шесте, с привязанными к нему людьми. Еще дальше - костры, пожирающие тела, и, последняя сцена из всех, крайняя

слева - маленький суебливый ручеек, пенящийся под мостами, который, как предполагается, является рекой, и в него человек бросает пепел двух злоумышленников".

Однажды темной ночью 1788 года природа из стыда напустила бурю, которая разрушила Колонну: ее приспешник Ман с запозданием снес памятник своего позора. Балкон дома Катарини Розы также был снесен, так что ни одно строение не напоминает об ужасной трагедии. Угловой дом Ведро де Читтадини, расположенный по левую руку от Корсо ди Порта Тичинезе, занимает место, где стоял дом бедняги Мора. Жилище покоится на этом проклятом месте с 1803 года.

Удивительно, но Рипамонти не только не отрицает вину жертв, но и время от времени как бы намекает на ее реальность. Следует учитывать, что в его положении официального историографа Милана вряд ли было допустимо выражать настроения, противоположные народному убеждению и решениям судебных инстанций. Уже в 1832 году, во время эпидемии холеры в Петербурге, самые косвенные утверждения о злоумышленниках, подсыпавших яд в пищу и питье жителей, были на слуху у всех.

Роман Мандзони *"Colonna Infame"* - это простое, без прикрас, повествование о суде и казни двух Анойнтеров, совершенно отличное по литературной форме от его *"Promessi Sposi"*. Она написана с определенной целью. Верри включил эту историю в свои *"Замечания о пытках"* лишь в качестве иллюстрации того, как с помощью пыток можно добиться признания в преступлении, невозможном как с физической, так и с моральной точки зрения. Мандзони пересказывает эту историю в интересах всего человечества, чтобы показать, что какой бы глубокой ни была вера в действенность мазей, и несмотря на существование законодательной власти, которая одобряла и поощряла пытки, судьи были вправе осуждать, лишь прибегая к хитростям и уловкам, несправедливость которых они прекрасно осознавали.

В *"Promessi Sposi"* Мандзони удачно сочетаются антикварные исследования и образное описание, а происшествия, связанные с чумой, ловко вплетены в ткань его истории. Мандзони писал в то время, когда литература, освободившись от пут условностей, постепенно приходила в гармонию с мировоззрением современной мысли. Хотя он был аристократом по происхождению, воспитание научило его смотреть на жизнь глазами крестьянина, а не своего господина. В своем гении романтики и благоговения перед прошлым Мандзони имеет много общего со Скоттом, но с той разницей, что Скотт видит социальную структуру сверху, а Мандзони - снизу. Для Скотта жизнь была спектаклем, в котором рыцари рыцарства и куртуазные дамы делили между собой все главные роли: Сцена Мандзони заполнена людьми, борющимися за освобождение от ига феодального гнета. Миланская чума, обрушившаяся в равной степени на богатых и бедных, стала для него текстом, на основе которого он проповедует сущностное равенство всех людей. Все его повествование построено таким образом, что пороки богатых и добродетели бедных предстают в ярком контрасте. Сцены чумы также дают ему возможность проявить удивительное понимание психологии толпы и умение объединять людей в массы - дар, в котором он соперничает с Тинторетто. Гений Мандзони в том, что он убеждает, не проповедуя.

Общая смертность от этой чумы в Милане, по приблизительным подсчетам, составила 150 000 человек. Санитары, или Совет здравоохранения, используя уроки предыдущей чумы, действовали разумно и энергично, хотя им мешало невежественное упрямство Сената, Совета декурионов и магистратов, которые боялись оттолкнуть торговлю, если будет признано наличие чумы. Одной из странных мер по исправлению ситуации стала

организация огромной процессии по улицам в честь Сан-Карло. Во время шествия все запертые дома скреплялись гвоздями, чтобы зараженные жители не могли присоединиться к нему. В разгар чумы смертей было так много, что могильные ямы были переполнены, а тела лежали, разлагаясь в домах и на улицах. Санита обратилась за помощью к двум священникам, которые обязались избавиться от всех трупов за четыре дня. С помощью крестьян, которых они вызвали из деревни во имя религии, были вырыты три огромные ямы. Санитары наняли *монатти*, чтобы те выносили мертвецов и отвозили их к ямам, и священники выполнили свою задачу в назначенный срок. Кроме *монатти*, они назначили *apparitores*, или вызывателей, которые шли впереди *монатти*, звоня в колокол, чтобы предупредить людей о необходимости вынести своих мертвецов. *Комиссары* контролировали и *аппариторов*, и *монатти*. Пьяцца был одним из этих надзирателей.

Чума семнадцатого века оставила после себя множество памятников как в литературе, так и в искусстве: среди них великая миланская чума - лишь один из многих.

Южная Франция снова и снова подвергалась нападениям, а в 1643 году чума свирепствовала в Лионе. Над портиком церкви Нотр-Дам де Фурвьер, которая стоит высоко на обрывистом холме, нависающем над городом, висит фриз, посвященный этой чуме.

В Италии город за городом погибали. Картина Гвидо "Паллионе дель Вото" напоминает нам о том, что Болонья пострадала вместе с Миланом. Венеция тоже пострадала, и из ее руин выросла церковь Санта Мария делла Салюте.

Флоренция хранит в Барджелло отвратительное воспоминание о своем визите в восковом изображении "Пестиленца" работы Дзумбо Гаэтано Джулио (1656-1701). Трупы лежат на разных стадиях разложения: среди них - мертвая мать рядом с младенцем. Мужчина, ноздри которого закрыты повязкой, пытается унести труп. На заднем плане горят большие костры. Моделирование трупов анатомически точно, но постановка в целом совершенно отталкивающая.

В 1656 году Неаполь играет главную роль в этой ужасной пляске смерти. Солдаты привезли чуму на транспорте из Сардинии. Поначалу вице-король пытался скрыть истинный характер болезни. Первый врач, осмелившийся объявить болезнь чумой, был немедленно посажен в тюрьму. Злопыхатели распространили информацию о том, что испанцы специально завезли чуму и нанимают людей, чтобы те под видом людей ходили по городу и сеяли отравленную пыль. Разъяренные жители ополчились на испанских солдат, которые в поисках безопасности переложили обвинение на французов. Ничто, кроме крови, не могло удовлетворить толпу, и Анжелуччи ди Тиволи, предполагаемый автор чумного порошка, был разбит на колесе в качестве примирения с их жаждущей крови яростью. Испанцев также обвиняли в том, что они отравляют святую воду в церквях с помощью смертоносного порошка. Суеверия свирепствовали во всех формах. Один человек рассказывал, что чудесным образом исцелился, выпив святой воды перед образом Богородицы. Другой видел мраморную статую Мадонны с Младенцем в церкви Сан-Северо, покрытую потом, а лица обоих были синюшными и отмеченными чумой. Врач Франческо Моска, напечатавший формулу лечения чумы, получил почетное звание *протомедика*. Одна монахиня предсказала, что строительство монастыря на холме Святого Мартина для ее сестер положит конец чуме. За строительство взялись с нетерпением, богатые и бедные соревновались в телесном труде, но, несмотря на все их усилия, смертность росла быстрыми темпами. По странному извращению рассудка покаянные процессии днем и ночью шествовали по тем самым улицам, на которых священники в страхе перед заразой совершали таинство на конце палки. За шесть месяцев умерло 400 000 человек. Эту чуму описывали разные авторы, в том

числе Муратори, Джанноне и де Ренци в своей книге *"Неаполь в 1656 году"*, опубликованной в 1667 году. Папский нунций в Неаполе в то время считал нужным написать об этом памфлет, а из современных писателей Шортхаус плохо использовал это в своем *"Джоне Инглесанте"*.

Микко Спадада (1612-79), который действительно был свидетелем этой чумы, оставил [картину](#), которая сейчас находится в Национальном музее в Неаполе. На ней изображена площадь Меркателло, представляющая собой настоящее столпотворение мертвых и умирающих. *Монатти*, набранные из галерных рабов, подтаскивают трупы крюками к телегам, на которых их везут в погребальные ямы. То тут, то там виднеются кресла-седла. На них перевозили больных в лазареты. Сначала носильщиков стульев выбирали из горожан, которые добровольно соглашались на это, но когда все они погибли, их место заняли рабы с галер и каторжники. Во время чумы в Марселе в 1720 году по приказу городского совета в распоряжение врачей были предоставлены седаны, "чтобы их было удобнее развозить повсюду".

В 1656 году чума свирепствовала как в Риме, так и в Неаполе. Николя Пуссен (1594-1665) жил в Риме и оставил свидетельство очевидца в своей картине "Римская чума", которая сейчас находится в коллекции Чернина в Вене. Это пейзаж с архитектурными особенностями, о которых Денио[179] дает следующее краткое описание: "Двое мужчин тащат труп к устью склепа, отверстие которого уже закрыто мертвыми телами. Человек, закутанный в белую мантию, указывает носильщикам, куда идти: рядом с ним собака, похожая на шакала. На высокой платформе вместилища мы замечаем группу из шести человек. Сломанные колонны занимают место полускрытых деревьев в других работах, а саркофаги и гробницы указывают на кладбище. За аркой простирается Кампанья". Пуссен ввел в картину замок Сан-Анджело, памятуя, несомненно, о легенде видения Григория.



ПЛАСТИНА XXVI ЧУМА В НЕАПОЛЕ, 1656 ГОД.

МИККО СПАДАДА

Церковь Санта-Мария-ин-Кампителли в Риме была перестроена в ее нынешнем виде в 1659 году Карло Райнальди, чтобы вместить чудотворный образ Богородицы, которому приписывали прекращение чумы 1656 года. Церковь иногда называют Санта-Мария-ин-Портико, из-за соседнего портика Октавии. Чудотворная Мадонна находится сейчас под балдахином над главным алтарем. До сих пор считается, что она защищает Рим от моровой язвы. Сюда же постоянно приезжали Старший Претендент и его сын Генрих, получивший от этой церкви титул кардинала, чтобы вознести молитвы перед этим же образом Мадонны об освобождении Англии от чумы протестантского отступничества. С этой целью Джеймс учредил молитвенный чин и постановил, что каждую субботу месса должна совершаться в 11 часов утра перед образом, с выставленным Таинством, и что после чтения молитв должно быть дано благословение вместе с Таинством. С тех пор эта церемония регулярно совершается.

В ризнице находится гравюра с изображением чудотворной Мадонны в рамке, датированная 1747 годом. Она окружена серией маленьких картинок, на одной из которых изображено явление образа святой Галле во время понтификата Иоанна I (523-6), когда она удовлетворяла нужды двенадцати бедняков в своем доме. На другой картине изображено посвящение папой Иоанном чудотворной картины в оратории Святой Галлы, которая позже была преобразована в церковь Святой Марии в Кампителли. Остальные картины представляют собой сцены в последующие понтификаты, когда эта чудотворная Мадонна приводила к прекращению чумы. К каждой из них прилагается краткое пояснение на латыни.

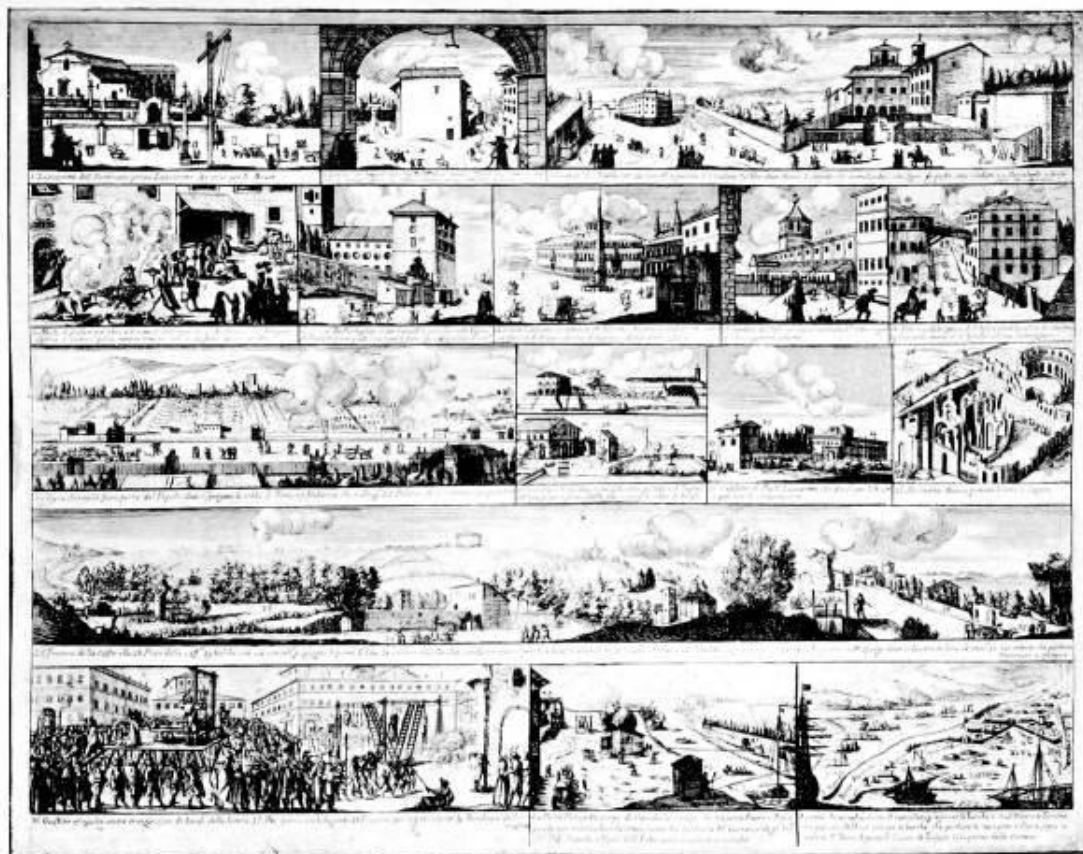
Чума 1656 года случилась во время понтификата Александра VII. Своим мужеством и преданностью своему народу на протяжении всей эпидемии этот папа во многом искупил вину своих папских предшественников. Удивительно, что в память о его заслугах не было воздвигнуто ни одного мемориала.

Две редкие современные гравюры изображают сцены этого визита. Одна из них изображена Ланчиани в его книге *"Золотые дни Возрождения"*:^[180], другая воспроизведена здесь.^[181] Обе гравюры можно было увидеть на медицинской выставке в замке Сан-Анджело весной 1912 года. На гравюре Ланчани изображены следующие сцены:

1. Осмотр городских ворот принцем Чиги.
2. Баржи с трупами из лазаретто на острове Сан-Бартоломмео.
- 3-5. Различные методы борьбы с чумой в зараженных районах.
6. Поле смерти" возле Сент-Пол-аутсайд-Уоллс.

Вторая гравюра представляет еще больший интерес, чем эта: первые два ряда листов дают представление о характере лазаретов, показывают, как они охранялись частоколами и дозорными: на них также изображены повозки для перевозки больных, сопровождаемые вооруженными солдатами. Интересны также детали дезинфекции книг и личных украшений больных, мертвая собака, которую тащат, чтобы бросить в реку, и телега для перевозки больных, отмеченная крестом. Третий ряд показывает вывоз зараженных вещей в места за городом, где их либо мыли, либо очищали; места, где хранились другие вещи; загородную резиденцию пап, превращенную в дом для выздоравливающих; разрушенный дворец Антонинов, куда свозили шерстяные вещи для дезинфекции. В четвертом ряду представлены главным образом умывальники и умывальные помещения, в которых одежду и постельные принадлежности выносили для очищения. Пятый ряд - казни нарушителей санитарных

правил, расстрел больных преступников и различные меры, принятые для ограничения речного движения. Через реку перекинут трос, на берегах возведены частоколы, чтобы прервать всякий контакт между городом и лодками, привозящими провизию. Показаны хижины, в которых жили солдаты и чиновники, в чьи обязанности входило заставлять подчиняться предписанным правилам.



ПЛАСТИНА XXVII СЦЕНЫ ЧУМЫ В РИМЕ, 1656 ГОД

Со старой гравюры (Лицевая страница 186)

ГЛАВА XII

Великая лондонская чума, достигшая своего апогея в 1665 году, оставила обильные следы как в литературе, так и в искусстве. Основная история ее опустошительных последствий слишком хорошо известна, чтобы ее повторять.

И все же некоторые готовы были видеть в чуме, как и в случае с пожаром, свидетельство рук злонамеренных евреев. С тех пор как Эдуард I изгнал евреев из Англии, они так и не получили законного права на возвращение в страну: их открытое обращение к Кромвелю не увенчалось успехом. С восстановлением на троне Карла II они, похоже, взяли дело в свои руки и спокойно вернулись обратно, так что к моменту чумы в Лондоне проживало множество евреев, к огромной выгоде для торговли и к облегчению постоянно

нуждающегося правительства. Но три столетия чумы, сменявшиеся вспышками свирепости через регулярные промежутки времени, помогли разгадать многие тайны моровой язвы, и люди поняли, что ее не изгнать ни истреблением евреев, ни жестоким убийством воображаемых отравителей.

Небесные знамения не были лишены предвестников чумы. За несколько месяцев до чумы появилась пылающая комета. Люди пытались увидеть в ее тусклом цвете и медленном торжественном движении предсказание тяжкого наказания за мор; в то время как та, что предшествовала огню, была быстрой и пламенной и предвещала скорое возмездие.

Суеверие вновь подняло образы из отброшенных фантазий. Женщины видели в небесах пылающие мечи, а некоторые даже ангелов, размахивающих ими над головой. Астрологи рассказывали странные истории о злокачественных соединениях планет. Мнение медиков разделилось по тем же линиям раскола, что и за 2 000 лет до этого. Были те, кто относил болезнь к какому-то оккультному яду, и те, кто относил ее к избытку какого-то явного качества, например тепла, холода или влаги, в каждом случае разрушающего гуматы тела. О природе причинного яда ходили самые разные догадки. Некоторые, как и Лукреций, считали, что это вредоносные тельца атомного характера, находящиеся вне пределов человеческого зрения, порожденные либо на небе злокачественным соединением планет, либо в почве, и так часто освобождающиеся в результате землетрясений. Эти яды, как бы они ни возникали, попадали в человеческое тело через загрязненную атмосферу.

Некоторые отмечали необычное отсутствие птиц перед эпидемией, как это делали в свое время Фукидид и Ливий. Бойл наблюдал сильное уменьшение количества мух в 1665 году, Богхерст - избыток мух и муравьев в 1664 году. Сэр Джордж Энт и другие приписывали болезнь мельчайшим невидимым насекомым, но Блэкмор считал их скорее следствием, чем причиной.

Насекомые, так называемые, насекомые, были смутно связаны с мором с далекой древности, особенно мухи, вши и саранча; но в медицинской литературе шестнадцатого века и позже им отводится гораздо более определенная роль. Mercurialis[182] утверждает, что во время чумы 1576 года по улицам Венеции прогуливалось огромное количество гусениц. Goclenus[183] упоминает о роях пауков во время чумы в Гессене в 1612 году, а Hildanus - о роях мух и гусениц в том же году в охваченной чумой Лозанне. Бэкон говорит о мухах и саранче, как о характерных для чумных лет, а Дьемербрук[184] о мухах, мошках, бабочках, жуках, кузнечиках и шершнях в той же связи. Готвальд[185] сообщает о присутствии множества пауков во время чумы в Данциге в 1709 году. Арабские врачи считали гниение стай мертвой саранчи важной причиной моровой язвы. Хэнкок, [186], в 1821 году утверждал, что саранча вызывает голод, уничтожая урожай, и таким образом подготавливает почву для человеческой чумы.

Талисманы, амулеты, реликварии и весь магический инвентарь пользовались большим спросом у населения. Неисчислимое количество шарлатанов, торгующих противоязвенными средствами, фактически заменили врачей, большинство из которых укрылись в бегстве. Вся честь тем, кто устоял на своем посту и вернул медицине то, от чего отказался Гален, - власть над собственной душой. Это люди, которые не боялись "ни моровой язвы, которая ходит во тьме, ни стрелы, которая летит днем":

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Доктор Фрэнсис Глиссон | } | Президенты Королевского колледжа |
| 2. Сэр Томас Уизерли | | Врачей. |
| 3. Доктор Николас Дэвис | | |

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 4. Доктор Эдвард Динтри | | |
| 5. Доктор Томас Аллен | | |
| 6. Сэр Джон Бейбер | | |
| 7. Доктор Питер Барвик | | |
| 8. Доктор Хамфри Брукс | Стипендиаты Королевского колледжа | |
| 9. Доктор Александр Бернетт | Врач. | |
| 10. Доктор Элиша Койш | | |
| 11. Доктор Джон Гловер | | |
| 12. Доктор Натаниэль Ходжес | | |
| 13. Доктор Натан Пэджет | | |
| 14. Доктор Томас Уортон | | |
| 15. Доктор Уильям Кониерс | Член Королевского колледжа | |
| | врачей. | |
| 16. Доктор О'Дауд | | |
| 17. Доктор Сэмюэл Пек | | |
| 18. Джон Файф | } | |
| 19. Томас Грей | | Члены цирюльни-хирурга |
| 20. Эдвард Ханнан | | Компания. |
| 21. Эдвард Хиггс | | |

И еще несколько человек, чьи имена не вписаны ни в один человеческий документ, но чьи деяния запечатлены нетленным шрифтом в бессмертной летописи праведных человеческих усилий.

Натаниэль Ходжес^[187] показывает нам кое-что из повседневной жизни врача во время чумы. Сам он вставал рано, принимал противоязвенную дозу, занимался домашними делами, а затем отправлялся в свою консультационную комнату, где его ждали толпы людей. Одних, больных, он лечил, других успокаивал и отсылал. Затем следовал завтрак, после чего он навещал пациентов у них дома. Войдя в дом, он выпаривал на угольном мангале ароматическое дезинфицирующее средство: если он приходил запыхавшимся, то немного отдыхал, а затем клал в рот пастилку, после чего приступал к осмотру пациентов. После многочасового обхода он возвращался домой, выпивал стакан мешка, а затем ужинал жареным мясом с солеными огурцами или другими подобными приправами, которые считались антидотными. За предварительным занавесом следовало еще вино. После полудня и вечера, до восьми или девяти часов, были посвящены второму кругу визитов. Поздние часы он проводил дома, чуждый пагубному табачному дыму, попивая мешочек, чтобы обеспечить себе бодрость и уверенность во сне. Дважды смертельная инфекция, казалось, проскальзывала мимо его застав, но у Ходжеса оставалось свое средство: он просто удваивал дозу.

Из всей литературы о моровой язве ни одна не была так широко прочитана, как *"Дневник чумного года"* Дефо: все более поздние записи черпают свои краски у Дефо. Тем не менее, тщательное изучение и сравнение других свидетельств современников оставляет мало места для сомнений в том, что картина Дефо не совсем точно отражает общее состояние Лондона во время чумы. Его картина в гораздо большей степени соответствует Марселю 1720 года,

чем Лондону 1665 года, и в этой связи следует вспомнить, что он усердно собирал материалы для дневника о марсельской чуме, которые были напечатаны в некоторых изданиях его работ. Они вряд ли могли не окрасить его *"Журнал"*, который был представлен публике только в 1722 году, через два года после марсельской чумы.

Самому Дефо во время чумы было всего шесть лет, так что его собственные детские воспоминания мало чем могли помочь ему в работе. Максимум, что у него было, - это смутное воспоминание о какой-то ужасной катастрофе, вокруг которой крутились рассказы родителей и друзей в его детстве. К ним он добавил факты и происшествия, заимствованные из основных записей, доступных в печати. Внутренние свидетельства указывают на то, что их было три: *"Ужасное посещение Лондона"*, *"Лоймология"* Ходжеса и *"Ужасный голос Бога в городе"* Винсента. Первая из них должна была дать ему счета смертности и другую общую информацию; вторая - аспект чумы с точки зрения врача; третья - видение чумы в том виде, в каком она предстала перед народным воображением.

В том, что Дефо намеревался писать историю, а не вымысел, нет причин сомневаться. Если судить только по точности фактов, то это история, но именно в тех фактах, которые он опускает, просто потому, что никогда о них не слышал, он бессознательно переходит к вымыслу. Сравнение деталей и происшествий с безупречными записями Пэписа подтверждает его точность, но также показывает, что, отделяя происшествия от их окружения и сжимая описание до исключения всех, кроме избранных, случаев, картина в целом неточно отражает облик города, каким он был. Пэпис, который был непосредственным очевидцем, отметил не только самые яркие события, но и те, которые представляют повседневный интерес, поэтому его повествование гораздо более соответствует жизни. Дефо же, напротив, оторвал свою картину от обстановки. Пэпис показывает нам, что, хотя призрак чумы был повсюду, повседневная жизнь продолжалась, хотя и в приглушенном виде. Дефо же хочет заставить нас поверить, что всякая деятельность была парализована.

Однако, несмотря на все это, при чтении *"Журнала"* повествование приобретает такую атмосферу правдоподобия, что инстинктивно представляешь себе писателя, описывающего то, что он видел своими глазами, настолько совершенна эта иллюзия. Мид, который сам был авторитетом в области чумы и так скоро после этого события, считал, что *"Дневник"* - это подлинные записи очевидца. Способность Дефо визуализировать то, чего он не видел, уступает только живости, с которой он описывает то, что он визуализировал.

В чем секрет этой яркости? Прежде всего, в предельной простоте языка. Простой стиль был естественным стилем Дефо, и по этой причине он использует его бегло и легко, и, зная это, он вполне уместно вкладывает свою историю в уста простого шорника. Дефо писал для растущего класса читателей, принадлежащих к низшему социальному слою. Он - апостол простого народа, поэтому он подражает его манере говорить. Его повествование не только разговорное, но и намеренно использует язык, которым бы пользовался шорник, пересказывая своим близким воспоминания о пережитом. Здесь нет ни стремления к драматическому эффекту, ни рисования ярких картин, ни литературного артистизма, но всегда одна и та же выдержанная простота дикции, даже при описании самых ужасных происшествий. Нельзя упустить ни малейшего шанса, поэтому он даже делает необходимые размышления, комментируя свой рассказ.

Образованный читатель, особенно в наши дни, когда даже литература подается в форме таблоида, должен быть утомлен многословием и раздражен избыточностью повествования. Но опять же в оправдание следует сказать, что эти недостатки являются преднамеренными.

Постоянное повторение, как известно каждому учителю, рано или поздно проникает в самый плотный мозг.

Но *"Журнал"* - это нечто большее, чем просто хроника, достаточно яркая, чтобы рассказать о том, что происходило и как вели себя люди во время чумы. Дефо рассматривает чуму как Божий суд, и это отношение придает произведению сильную нравственную направленность. Именно поэтому он так подробно останавливается на психических и моральных последствиях катастрофы, преподнося свой урок без излишней настойчивости. Пэпис, как мы знаем, нашел в себе силы веселиться во время чумы, как Боккаччо изобразил свою компанию флорентийцев: для Дефо же сама идея веселья вызывает отвращение. Пэпис в канун Нового года, оглядываясь на мерзость запустения, мог сделать такую запись в своем *Дневнике*:

"31 декабря 1665 года. Я никогда не жил так весело (кроме того, я никогда не получал так много), как в это чумное время... и множество танцев, которые мы устраивали за мой счет (которые я охотно давал себе и жене) в моих домиках. Большим злом этого года, да и вообще единственным, является падение милорда Сэндвича, чья ошибка с призами погубила его".

Пэпис был чужд воображению: его удовольствия и огорчения были поверхностными и сиюминутными. Его кредо - эгоистический гедонизм во всей его неприкрытой грубости. Он гораздо больше беспокоится о пожаре, где есть шанс потерять свое имущество, чем о чуме, где есть шанс потерять жизнь. Его ретроспектива в канун Нового года - не единственное свидетельство безразличия к ужасам чумы. Посмотрите на 30 сентября 1665 года, когда самый свирепый приступ только-только прошел:

"Так что я с удовольствием сплю и, сэкономив только эту ночь и день или два на том же деле, что и месяц или шесть недель назад, заканчиваю этот месяц с величайшим удовлетворением и могу сказать, что эти три месяца для радости, здоровья и прибыли были самыми лучшими, которые я когда-либо получал за всю свою жизнь, не имея ничего, кроме соображения о болезненности сезона во время этой великой чумы, чтобы уязвить меня. За все это да будет слава Господу Богу!

Дело не в том, что Пэпис не осознавал ужасных сцен страданий вокруг него, а лишь в том, что его они не трогали. В одном коротком письме к леди Картарет, написанном в разгар чумы, он собрал все мрачные подробности, которые у Дефо могут занять целый том.

Историки часто утверждают, что пожар в Лондоне уничтожил чуму. На самом деле он, вероятно, не имел особого отношения к ее уходу. Несколько английских городов пострадали так же сильно, как Лондон, и все же в отсутствие пожара затихание и исчезновение чумы происходило так же, как и в Лондоне. В Салониках, [188], около 1500 г. н. э., после пожара, уничтожившего 8000 домов, действительно последовала вспышка чумы. По распространенному мнению современников, уход чумы из Лондона ускорился благодаря повсеместному использованию каменного угля, из-за чего атмосфера была постоянно пронизана сернистыми испарениями.

Записи в искусстве о Великой лондонской чуме, хотя и многочисленны, в основном не имеют большого значения. Как правило, художники довольствовались иллюстрациями к многочисленной литературе о ней. В 1863 году Фредерик Шилдс начал задуманную серию иллюстраций к *"Журналу Дефо"*. Рёскин очень хвалил эти гравюры за их силу воображения и превосходное оформление. Пробные экземпляры шести гравюр можно было увидеть на Мемориальной выставке работ Шилдса (Альпийский клуб, сентябрь-октябрь 1911 года). Набор из шести гравюр включал в себя следующие сцены:

1. Решение веры

Мужчина сидит за столом, на котором лежит билль о смерти, с открытой Библией перед ним. Он говорит себе: "Я не знаю, что делать, Господи, направь меня". Его палец указывает на ответ в открытой Библии: "Потому что ты сделал Господа, Который есть прибежище мое, Всевышнего, жилищем твоим; не постигнет тебя никакое зло, и никакая язва не приблизится к жилищу твоему".

2. Смерть первенца

Юноша лежит в конвульсиях на кровати, а рядом с ним на коленях стоит женщина. На заднем плане - носильщики, уносящие труп: оба курят трубки. На земле лежат часовые часы.

3. Соломон Орел предостерегает Неприкаянного

Соломон Орел стоит с мангалом живых углей на голове в яростной проповеди перед группой развратных молодых женщин у открытого окна.

4. Конец беженца

Мужчина с длинным крючковатым шестом тащит за собой труп. Рядом с ним стоит могильщик с лопатой, собакой и корзиной для ужина.

5. Чумная яма

Трупы сбрасывают с телеги в яму при свете факела, который держит мужчина.

6. Побег заключенной семьи

Дверь дома выбита, на ней лежит труп.

Джордж Крикшанк предоставил четыре рисунка для издания Брейли *"Журнал чумного года"*. Три из них - "Мертвая телега", "Большая яма в Олдгейте" и "Соломон Игл" - яркие и сильные; четвертая - "Жена водоноса" - слабая и заурядная.

Проповедь Соломона Орла - тема картины П. Ф. Пула, Р. А., в галерее Мэппин в Шеффилде. Изображенная на ней сцена взята из романа Гаррисона Эйнсворта *"Старый Сент-Пол"*. На ней изображен Соломон Орел с мангалом живых углей на голове, обнаженный, если не считать набедренной повязки; он обращается с речью к перепуганным горожанам у старого собора Святого Павла во время чумы. Вокруг лежат тела умерших и умирающих: на одном из домов виден проклятый красный крест и слова "Господи, помилуй нас". На заднем плане носильщики уносят труп для погребения.

Инцидент, который Пэпис описывает в своем *"Дневнике"* под 3 сентября 1665 года, представлен на современной картине мисс Флоренс Ризон.

Среди прочих историй была одна очень страстная, как мне показалось, о жалобе, поданной на одного человека в городе за то, что он взял ребенка из Лондона из зараженного дома. Олдермен Хукер рассказал нам, что это был ребенок очень способного горожанина с Грейсент-стрит, шорника, который похоронил всех своих детей от чумы, а сам и его жена, оказавшись в заточении и отчаявшись спастись, желали только сохранить жизнь этому маленькому ребенку: и поэтому добился того, что его принесли голым в руки друга, который привез его (переодев в новую свежую одежду) в Гринвич; где, выслушав эту историю, мы согласились, чтобы его разрешили принять и оставить в городе.'

В 1679 году в Вене, тогда роскошном городе с населением около 210 000 человек и резиденции Леопольда, императора Священной Римской империи, разразилась страшная эпидемия чумы. Основные сведения об этом визите мы почерпнули у Сорбайта (*Consilium medicum oder freundliches Gespräch*), Абрахама а Сан-Клара (*Merk's Wien*) и Фурманна (*Alt- und Neu-Wien*). Этой болезни предшествовала эпидемия "горячей болезни" (*Hitzige Krankheit*), которая была очень смертельной. Вслед за ней пришла бубонная чума, и Вена представляла собой зрелище огромного лазарета для больных и гигантской чумной ямы для мертвых. Заключенных, как и в Неаполе, нанимали и для ухода за больными, и для погребения мертвых. Одежда, мебель и постельные принадлежности валялись на улицах вперемешку с мертвыми и умирающими. Когда телеги не справлялись, тела выбрасывали в Дунай. Чумной комитет тщетно пытался закрыть все зараженные дома и изолировать заключенных в лазаретах и карантинных пунктах. За неповиновение полагалась смерть через публичное повешение. Некоторые из королевских принцев, и в первую очередь принц Фердинанд Шварценбургский, а также многие представители дворянства мужественно посвятили себя борьбе с чумой, беря на себя даже самые незначительные обязанности. Но многие горожане и сам император бежали. Леопольд счел свои обязательства перед народом выполненными, совершив паломничество в Мария-Целл, чтобы помолиться о прекращении чумы. Затем он перевез свой двор в Прагу, а оттуда чума заставила его переехать в Линц.

Во время чумы венцы установили деревянную колонну, к которой совершались частые процессии, соблюдая древний ритуал флагеллантов. По окончании чумы Леопольд дал обет в соборе Святого Стефана заменить ее мраморной колонной, которая была воздвигнута на Грабене в 1687-93 годах.

Один из эпизодов этой чумы, история уличного певца Августина, которого живым, но пьяным бросили в чумную яму, но он выбрался оттуда ничуть не худшим образом, напоминает аналогичное происшествие у Дефо. Говорят, что этот человек сочинил знакомое "O du lieber Augustin" в пивной в ту самую ночь, когда его бросили в чумную яму.

Амулеты различных видов широко использовались в семнадцатом веке. В Южной Германии распространенной формой был так называемый пестик Пенни. На одной стороне, как правило, изображалась фигура святого Бенедикта или святого Захария, а на оборотной - какая-нибудь формула экзорцизма.

Вена^[189] становилась жертвой вспышки за вспышкой чумы, но опыт, полученный во время визита 1679 года, позволил властям покончить с инфекцией в 1691 и 1709 годах, пока она не вышла из-под контроля. Но в 1713 году все профилактические меры не смогли остановить ее распространение. Тогда, в мае, к чумной колонне были организованы процессии и литании. Император Карл VI остался в Вене и произнес в соборе Святого Стефана торжественную клятву, что если чума прекратится, то он воздвигнет церковь в качестве благодарности. Так возникла Карлскирхе. Эта церковь представляет собой богатое квадратное здание с огромным куполом. Это шедевр Й. Б. Фишера фон Эрлаха, начатый в 1715 году. На тимпане рельефно изображены разрушительные последствия чумы, выполненные Станетти. Фланкирующие портик две купольные колокольни, напоминающие колонну Траяна, высотой 108 футов, с рельефами из жизни святого Карло Борromeо работы Мадера и Шлеттера. В марте 1714 года, когда от чумы умерло 120 000 человек, в соборе Святого Стефана был отслужен благодарственный молебен, на котором присутствовал император. Было выпущено

две серии памятных монет, на одной из которых изображена вотивная колонна, а на другой - церковь, посвященная Сан-Карло Борromeо.

Положения о чуме, опубликованные в отдельном виде в Вене во время этой эпидемии, дают хорошее представление о текущем народном мнении относительно природы чумы. Не было недостатка в приверженцах каждого из верований предшествующего периода. Были те, кто считал ее сигнальным свидетельством Божьего неудовольствия. Были и те, кто приписывал ее яду, содержащемуся в воздухе или пище, порожденному звездами и распространяемому по злему умыслу гробокопателей в их собственных целях. В этом обвиняли даже евреев. Были и те, кто читал его происхождение в соединении определенных звезд. Другие приписывали его голоду, ядовитым испарениям, выпущенным землетрясениями, кометам и даже засушливым сезонам, вызванным размножением насекомых. Как бы то ни было, облака в виде биров и похоронных процессий, шумы в церковных дворах и тоскливые звуки в воздухе предвещали его приход. На зараженных телах вирус часто проявлялся в виде синих сернистых испарений. Были и те, кто предполагал естественное происхождение болезни. Один врач, по имени Грегоровиус, вскрыл три трупа в поисках причины, но так и не нашел ее. Его неустранимое рвение было должным образом вознаграждено императором и медицинским факультетом в Вене.

В соответствии с различными представлениями о причине болезни, средства лечения были разнообразны и многообразны. Одни прибегали к благочестивой жизни, которой способствовали крестные ходы и покаянные проповеди. Некоторые жгли костры, чтобы очистить воздух, иногда добавляя серу. Множество трав, главная из которых - анжелика, пользовались репутацией противопростудных средств. Простая жизнь привлекала одних, чистки и кровопускание - других.

Но бок о бок с этим беспорядочным набором мер постепенно складывался кодекс санитарных предосторожностей. Раннее оповещение врачей, карантин подозреваемых и разделение больных, чистота и дезинфекция - все это рекомендовалось и неукоснительно выполнялось, и в зародыше закладывало основные принципы современной санитарной науки. Врачам предписывалось соблюдать трезвость, дезинфицировать себя и носить шелк или тафту, к которым вирус не прилипает. Мы действительно подошли к развязке, и отныне поток медицинской науки, все меньше и меньше загрязняемый поверхностными водами суеверий, течет по своему руслу чисто и полноводно. Солнце науки наконец-то выходит из своего затянувшегося зимнего солнцестояния.

ГЛАВА XIII

В 1720 году чума пришла в [Марсель](#). Считается, что ее принесло судно "*Гран-Сен-Антуан*", прибывшее 25 мая из Леванта. Как обычно, в интересах торговли ее попытались замаять. В начале августа нужно было что-то делать, и по совету двух врачей, Сикарда, отца и сына, было решено разжечь костры по всему городу. За неимением дров это не было сделано, но также и за неимением веры, так как выяснилось, что, несмотря на свою хваленую специфику, сикарды бежали из города. Поэтому беднякам стали раздавать серу, чтобы они "благоухали" в своих домах.

Уже 2 августа городской совет счел необходимым принять особые меры, чтобы врачи и хирурги не отвлекались от своей работы. Так, они постановили, что город должен платить им фиксированное жалованье вместо платы с больных, а также выдать им плащи из промасленной ткани и седаны, чтобы возить их во время обхода. Сохранилось несколько иллюстраций [одежды, принятой врачами](#) во время чумы в Марселе. Такое же платье, с незначительными изменениями, носили в других частях Франции, в Швейцарии и в Германии, а зародилось оно в Италии. Оно изображено на старинной венецианской гравюре на дереве 1493 года из работ Жоаннеса де Кетама (*Fasciculus Medicinae*, 1493). На этой гравюре изображен врач в длинном комбинезоне, но с черепной коробкой на голове, который навещает больного чумой в постели. Его сопровождают санитары с зажженными факелами, а сам он держит перед ртом и носом губку с лекарством, прощупывая пульс. Гриллот изобразил это платье на фронтисписе своей картины "*Лион, пораженный чумой*" 1629 года, а Манге[190] позаимствовал его у него. Из его описания следует, что мантия, бриджи, рубашка, сапоги, перчатки и шляпа были из сафьяновой кожи. Ключ, прикрепленный к маске, был наполнен ароматическими веществами, через которые проходил воздух при дыхании, и имел отверстие для каждого глаза, снабженное диском из хрусталя.



Habit des Medecins, et autres personnes
qui visitent les Pestiferes, Il est de
marquum de leuant, le masque a les yeux
de cristal, et un long nez rempli de parfums

ПЛАТА XXVIII,
1. ПЛАТЬЕ МАРСЕЛЬСКОГО ВРАЧА,
1720



ПЛАТЬЕ XXVIII,
2. НЕМЕЦКАЯ КАРИКАТУРА
ТОГО ЖЕ САМОГО

(Лицевая страница 200)

М. Ребер[191] описывает [гравюру Джона Мельхиора Фюсслина](#), изображающую врача во время чумы в Марселе. Легенда под ней на немецком языке гласит (перевод) "Эскиз марсельского врача, обтянутого кордовской кожей, с носовым футляром, наполненным курительным веществом, чтобы уберечься от чумы. С помощью палочки он должен прощупать пульс". Таблички Ребера и Манге воспроизведены в "Бристольском медико-хирургическом журнале" за март 1898 года из блоков *Janus*. Гаффарель[192] приводит костюмы врача и больничного санитаря: они очень похожи на одежду итальянских благотворительных гильдий XV и XVI веков.

К 9 августа часть врачей и почти все мастера-хирурги бежали, и был издан указ, требующий их возвращения или, в противном случае, изгнания из соответствующих корпораций, а также других особых наказаний. Два врача по фамилии Гайон добровольно вызвались работать в

Больнице для выздоравливающих, но тут же поплатились жизнью. За неимением достаточного количества врачей в Марселе были вызваны другие из Монпелье, Парижа и других мест. Они исчерпали свои силы в споре о заразном характере чумы. Чикойно и Ширак утверждали, что она не заразна. Дейдье доказал, успешно прививая собакам желчь, взятую у больных чумой, что она, во всяком случае, заразна. Каждый из них впоследствии изложил свои взгляды в официальной речи перед школой Монпелье.

Существующие помещения больницы не соответствовали потребностям. За городом были возведены палатки для экстренных случаев, в которых больные лежали на матрасах. Шевалье Роз за свой счет оборудовал и содержал госпиталь во вверенном ему округе. В спешном порядке был возведен большой временный госпиталь из дерева, покрытый парусиной, но когда в конце сентября он был почти закончен, его снесло штормом, и он был восстановлен только 4 октября. Этот госпиталь вместе с Главным госпиталем Шарите на 800 коек в конечном итоге обеспечил достаточное количество мест, так что никому не пришлось оставаться на улице.

С самого начала смертность была такой, что хоронить умерших было практически невозможно. 8 августа собрание постановило, что для перевозки умерших к месту погребения следует использовать телеги, а также вырыть ямы, в которых можно было бы хоронить тела в извести. Поэтому за стенами, между воротами Экса и Жольетта, были вырыты две огромные ямы, причем месье Мустье наблюдал за землекопами и заставлял их работать. Шевалье Розе также приказал вырыть ямы и организовал корпус могильщиков в своем округе. Поначалу обязанности по погребению были возложены на крепких нищих, но через некоторое время их запасы иссякли, и тела стали скапливаться в домах и на улицах. Тогда время от времени реквизировали каторжников.

Этим каторжникам обещали свободу, чтобы побудить их к работе, - обещание, которое так и не было выполнено в отношении тех немногих, кто выжил после выполнения задания. Их неумение управлять телегами и лошадьми, праздность и жажда грабежа сделали их настолько непригодными для работы, что Мустье, другие шерифы и шевалье Розе были вынуждены постоянно присутствовать на лошадях, чтобы руководить работой. К 21 августа трупы уже начали скапливаться в старых частях города, где улицы были слишком узкими и крутыми, чтобы по ним могли проехать телеги. В связи с этим был отдан приказ использовать для захоронений своды церквей в верхней части города на негашеной извести, а когда они заполнятся, заделать их цементом. К концу августа улицы были буквально усеяны трупами, некоторые из которых находились на поздней стадии гниения, вперемешку с убитыми кошками и собаками, а также подстилками, выброшенными из домов. Площадь перед зданием под названием Лож, а также палисадники порта были заполнены телами, вынесенными на берег с кораблей, стоявших на рейде, на которые бежали целые семьи, полагая, что чума не доберется до них по воде.

К 6 сентября на улицах лежало более 2 000 мертвых тел, не считая тех, что находились в домах. На эспланаде Ла-Туретт, расположенной в сторону моря между домами и крепостным валом, уже несколько недель лежали 1000 трупов, гниющих на солнце и источающих жуткое зловоние. Они были слишком гнилыми, чтобы их можно было погрузить на телеги, и слишком грязными, чтобы везти их в дальние ямы. Шевалье Розе, помня, возможно, о Прокопии, задумал сбросить их в два огромных склепа в старых бастionaх, расположенных недалеко от эспланады, проломив их крыши. С этой задачей с яростной поспешностью справились 100 рабов-галерников, которые завязывали им рты и носы платками, смоченными в уксусе. В то же время рыбаки выловили 10 000 мертвых собак, плававших в порту, и отбуксировали их в море.

В приходе Сен-Ферриоль, лучшем квартале города, художник Мишель Серр взял на себя заботу о погребении умерших, предоставив в его распоряжение телеги и рабов с галер, сам обеспечивая еду и ночлег для работников. Благодарный город оплатил ему тем, что повесил две его большие картины с изображением Марсея во время чумы под потолком подземного погреба, где невозможно расшифровать их детали.

Когда все трупы были утилизированы, шерифы нанимали рабов на галерах, чтобы те убирали грязь с улиц и бросали ее в баржи, которые увозили ее в море.

В начале эпидемии шерифы запретили ежегодную процессию 16 августа в честь святого Роха, во время которой по улицам проносили бюст и мощи святого; но народ поднял такой шум, что процессия была отпразднована, причем шерифы присутствовали со своими алебардистами, чтобы не допустить толпы. К 7 сентября даже гражданские власти стали рассматривать чуму как орудие Божьего гнева, и магистраты, чтобы умиротворить ее, поклялись, что каждый год город должен выделять 2000 ливров на благотворительный дом, который должен быть основан под покровительством Богоматери Доброй Помощи для сирот провинции.

В разгар чумы многие приходские священники и некоторые монахи бежали: церковные службы были в основном приостановлены. Но многие светские священники и монахи остались и беззаветно посвятили себя больным. Епископ Белсунн благородно играл свою роль. Где бы ни лежали самые бедные, он шел исповедовать, утешать и увещевать их к терпению. Умирающим он нес Таинство, а обездоленным - все свои деньги в виде милостыни. Хотя чума вторглась в его дворец и унесла всех, кто был рядом с ним, она пощадила его. Именно о нем спрашивает Папа^[193],

Почему добрый епископ Марсея дышал чище, когда природа болела, и каждый шторм был смертью?

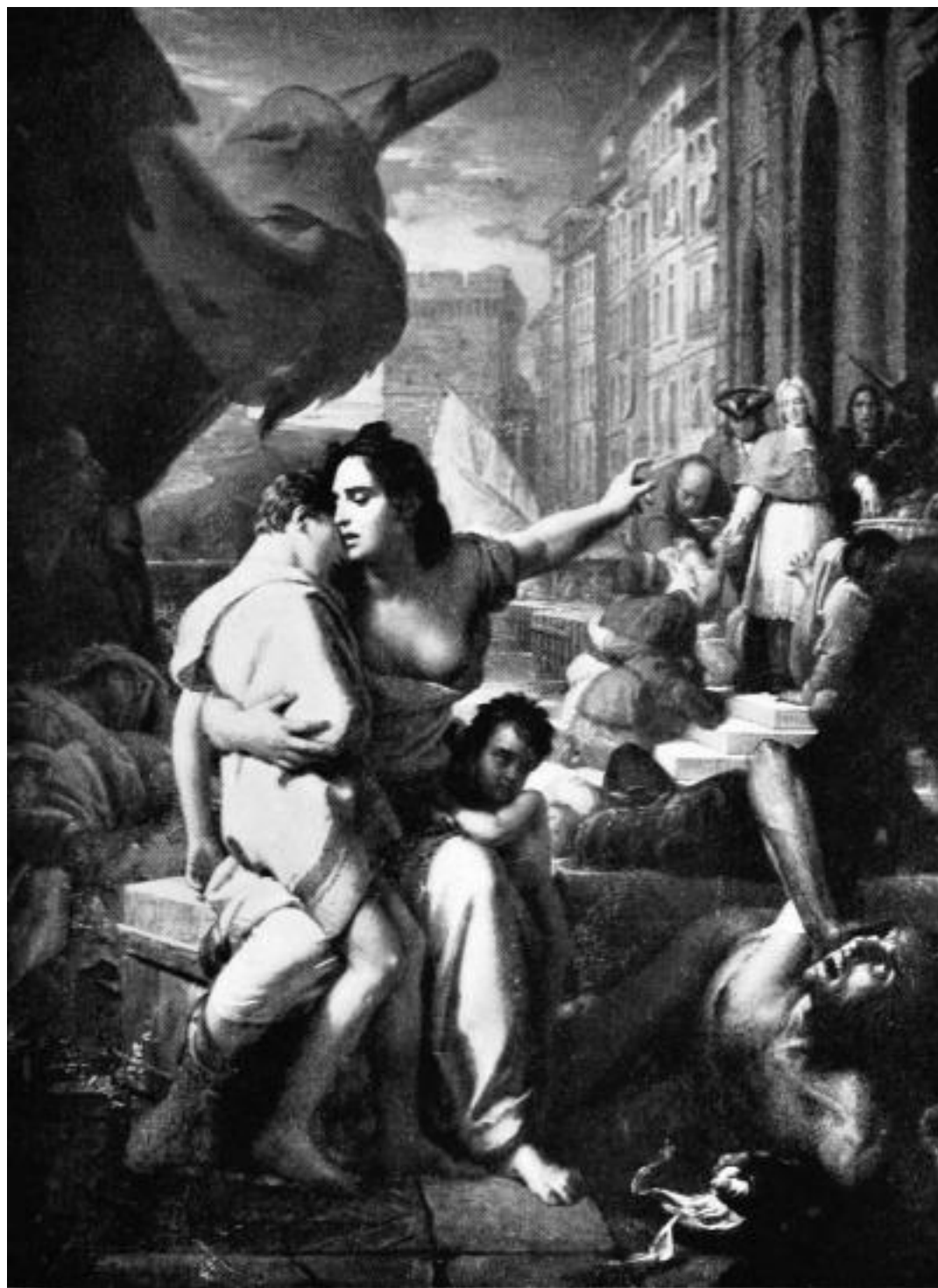
В День всех святых Бельсунс возглавил процессию по улицам от своего дворца, идя босиком, как Борромео в старину, с недоуздов на шее и неся крест в руках. Он хотел предстать перед своим народом как козел отпущения, на которого возложены его грехи, и как жертва, призванная их искупить. В сопровождении священников и каноников церкви он направился к месту, где был воздвигнут алтарь. Там, увещевая людей к покаянию, он отслужил перед всеми мессу. Затем он торжественно посвятил город Святому Сердцу Иисуса, в честь которого он учредил ежегодный праздник. Слезы, стекавшие по его лицу во время речи, заставили всех громко взывать к Господу о милосердии. 16 ноября Бельсунс решил на изгнание угасающей чумы. Созвав всех оставшихся священнослужителей в церковь Акуля, он прочитал все молитвы, предписанные папой для избавления от чумы. Затем после красноречивого и трогательного увещевания он вознес Святое Таинство на крышу собора и там, под открытым небом, когда перед ним лежал весь город, произнес торжественное благословение и совершил полный ритуал экзорцизма в соответствии с формами Римско-католической церкви.

Белсунс был не первым козлом отпущения, который ступал по улицам Марсея в знак добровольного оправдания своего народа. Во времена моровой язвы в старой греческой колонии Массилии один из представителей низшего сословия приносил себя в жертву за своих сограждан. Его, одетого в священные одежды и украшенного священными ветвями, водили по улицам под молитвы людей о том, чтобы их беды пали на него, а затем изгоняли из города.

Сегодня на возвышенном гребне земли на открытой площади, прямо перед Марсельским епископским дворцом, стоит бронзовая статуя Бельсунса работы Рамуса. На каменном постаменте - памятная надпись и два рельефа из бронзы. На одном из них Марселина в женском облике лежит среди своих пораженных детей, а Бельсунц и сопровождающие его священники умоляют Святое Сердце остановить чуму. В другой - Бельсунц несет таинство больным и умирающим.

Статуя Белсунса, облаченного в полное епископское одеяние, стоит с поднятым лицом и протянутыми к небу руками, в позе искренней мольбы. Перед ним природа создала пейзаж непревзойденной красоты: море, земля и небо свободно отдают свои лучшие качества. Далеко внизу многоголосый народ движется туда-сюда по набережным порта, как муравьи, выполняя свои обязанности. За ним простирается бескрайний простор Средиземного моря, то гладкого и серебристого, как зеркало, то волнующегося от приливов и отливов. Вечернее солнце освещает лицо Белсунса последним долгим сиянием над морем и низменностью, окаймляющей залив, и уходит на закат в сиянии золотых оттенков. Если человеческое изображение может наслаждаться совершенным счастьем, недоступным человеку, то, несомненно, Белсунн получит свою награду.

Марсель богат воспоминаниями о своем епископе. В Санитарном бюро висит приятный портрет Бельсунса работы Гобера, а в Музее можно увидеть бедную картину Мансиана, на которой он причащает жертв чумы. Франсуа Жерар (1770-1837) подарил свою картину "[Марсельская чума](#)" Санитарному бюро, где она сейчас и висит. Угрюмый колорит картины плохо сочетается с яркой энергией композиции. На переднем плане изображена вся трагедия семьи, пораженной чумой. На земле лежит корчащийся в агонии отец: его руки сжаты, глаза вылезли из глазниц: повязка в правой подмышке указывает на одно из мест распространения болезни. Мать, сидящая на сундуке, прижимает к себе старшего мальчика, завернутого в одеяло, слишком слабого, чтобы стоять: младший ребенок прислонился к матери, его глаза в ужасе устремлены на умирающего отца. Ужас запечатлен в смертельной бледности лица матери. На заднем плане Белсунн в полном облачении раздает больным и голодающим беднякам хлеб, который несет служитель. Слева на переднем плане под навесом лежат тела умерших, а справа каторжники утаскивают трупы для погребения. Возвышенное спокойствие доброго епископа, кажется, приносит его страдающим людям обещание мира, который превосходит всякое понимание.



МАРСЕЛЬСКАЯ ЧУМА.
ФРАНСУА ЖЕРАР

Фотография Жиродона, Париж



ПЛАТЬЯ XXIX ПЕСТА В МАРСЕЛЕ В 1720 ГОДУ

Ж. Ф. де Труа (Лицевая страница 207)

Ж. Ф. де Труа-младший (1679-1752), сам бывший очевидцем этой чумы, написал [великолепную картину](#), которая сейчас находится в городском Музее. Она была выполнена для шевалье Розе в 1722 году. На ней он изображен сидящим на белом коне и спокойно руководящим работой приставленных к нему каторжников, которые очищают эспланаду Ла-Туретт от скопления разлагающихся трупов. Шерифы, также верхом на лошадях, помогают шевалье в его работе. Земля усеяна трупами, которые каторжники хватают и бросают в зияющие пасти открытых склепов в бастионах. Они работают в бешеной спешке, подгоняемые дурманящим запахом тел и осознанием опасности своей задачи. Свирепость изображена на их лицах, поспешность - во всех движениях их тел. Вся сцена полна жизни, движения и духа. В небе парят ангелы, потрясая горящими факелами. Прекрасная колористика позволяет передать ощущение, что и небо, и земля наполнены ядовитыми и болезненными миазмами.

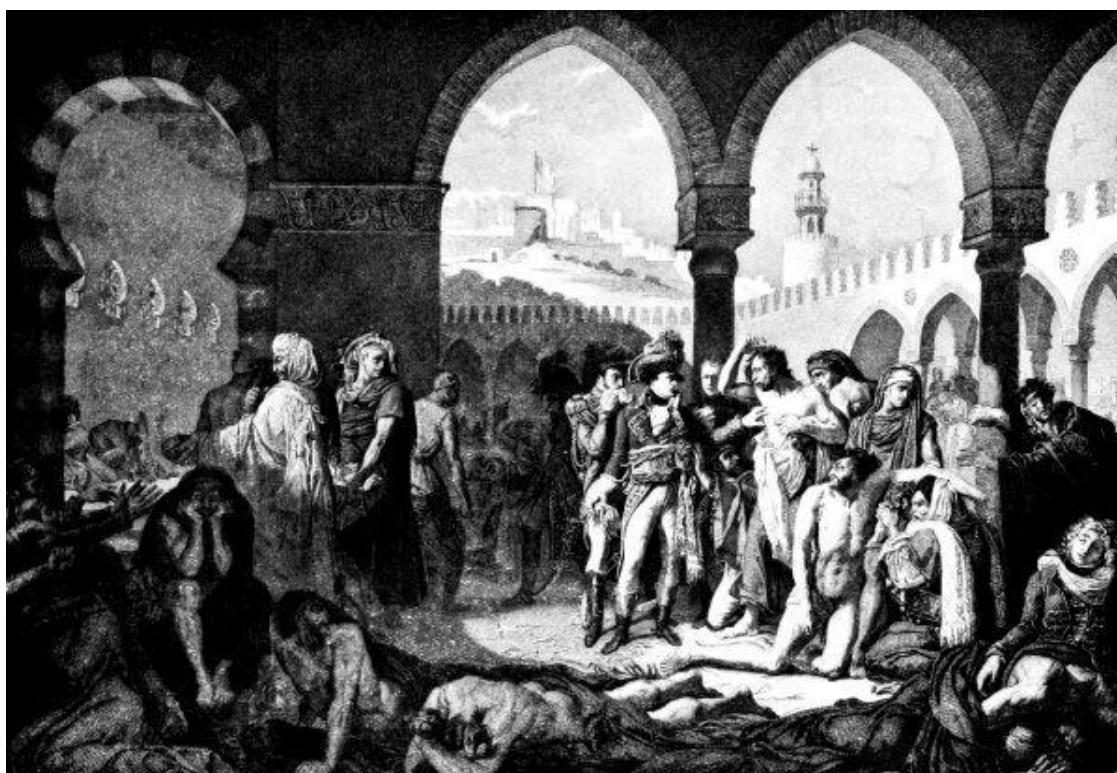
На другой картине в Санте в Марселе Герен трактует ту же тему в скучной обычной манере. Шевалье Розе, несущий мертвое тело женщины, заполняет центр картины. Позади него смешной мальчик одной рукой держит белую лошадь, а другой - свой нос, и придает своему носу цепкую хватку, которую уместнее было бы применить к лошади. Осужденные утаскивают мертвые тела, устилающие землю.

Две большие картины Мишеля Серра представляют интерес скорее как живописные свидетельства старого Марселя, чем как вклад в художественное представление чумы. Одна из них изображает Марсельскую улицу, ныне известную как Кур-Бельсунс, во время чумы. Это красивый бульвар, окаймленный с обеих сторон деревьями, под которыми видны палатки, наспех сооруженные в качестве временного жилья теми, кто бежал из своих зараженных чумой жилищ в укрытие улиц. Смерть и болезни последовали за ними и свирепствуют со всех сторон. Погребальщики собирают мертвых и увозят их на телегах. Эта

картина была гравирована Риго и представлена в книге Кроула *"Иллюстрированный Пеннант в Лондоне"*, т. х, стр. 93; также в книге Гаффарела *"Болезнь 1720 года"*, стр. 304.

На другой картине Серра изображено открытое пространство перед Отелом де Виль вместе с частью марсельского порта. Сцены напоминают те, что изображены на другой картине, и нам также напоминают, что многие укрывались в лодках и бросали якорь у гавани, тщетно веря, что чума не сможет их там настигнуть. Пространство перед ратушей превратилось в одну кучу разлагающихся тел, которые были высажены из лодок или выброшены на берег из вод гавани. Кроул^[194] рисует эту картину, как и предыдущую, так же как и Гаффарел.^[195]

С уходом чумы из Марселя эта болезнь почти исчезла из Европы. В Леванте она еще некоторое время процветала. Патрик Рассел, врач британского завода в Алеппо, написал трактат об эпидемии, случившейся во время его пребывания там в 1760-2 годах. В 1771 году болезнь вновь охватила Москву, унеся с собой не менее 80 000 жертв. Напрасно народ стекался к чудотворному *икону* Богородицы у Варварских ворот. Опасаясь большого скопления народа, архиепископ приказал перенести *икону* в Чудов монастырь, но ярость обезумевших людей была такова, что они пригрозили сровнять здание с землей, если *икона* не будет возвращена. Архиепископ уступил, но слишком поздно: толпа вытащила его из монастыря и расправилась с ним на открытой улице. С того дня чума пошла на убыль. Так чума была изгнана из Европы поклонением картине, и с драматической уместностью занавес опустился на финальный акт в сцене человеческого жертвоприношения.



ПЛАСТИНА XXXI ЧУМАКИ ЯФФЫ

Барон Грос (Лицевая страница 208)

Знаменитая картина барона Гроса "Яффские пестификаторы", хранящаяся сейчас в Лувре, стала предметом ожесточенных споров. Картина была заказана Наполеоном, когда он был первым консулом, и вызвала экстравагантный энтузиазм, когда была выставлена в Салоне в 1804 году. Художники установили над ней пальмовую ветвь, а публика покрыла всю раму

венками. На самом деле это большое непривлекательное полотно, лишенное каких-либо исключительных достоинств ни в композиции, ни в цвете. На нем изображен Наполеон в сопровождении нескольких своих подчиненных, стоящий среди пораженных чумой солдат в интерьере мечети. Один из них поднимает правую руку, чтобы обнажить бубон в подмышке, и Наполеон прикладывает к нему пальцы.

Существует также грубый набросок[196], который показывает, что Грос с самого начала намеревался представить свой объект по-другому. Наполеон, как и Сен-Луи на современной фреске в Сен-Сюльпис, держит в руках тело жертвы чумы, которую ему помогает поддерживать араб. Бесстрастные черты генерала сильно контрастируют с испуганным видом его сопровождающих.

Каждое из этих двух изображений похоже на реальные исторические события, произошедшие во время кампании Наполеона в Сирии. В Яффе, где Наполеон основал большой госпиталь, среди войск началась чума, и генералы с тревогой сообщали о ее распространении. Целью Наполеона было восстановить *моральный дух* своей армии, который серьезно пострадал от вспышки болезни. Норвин[197] представляет Наполеона как посетившего все палаты в сопровождении генералов Бертье и Безьера, генерал-директора Доре и главного врача Деженетта. Наполеон разговаривал с больными, подбадривал их, прикасался к их ранам, говоря: "Вы видите, это пустяки". Когда он покинул госпиталь, его обвинили в неосмотрительности. Он холодно ответил: "Это мой долг, я - главнокомандующий". Это подчеркнутое безразличие к заразе в сочетании с прекрасным поведением главного врача Десгенетта, который в присутствии солдат сделал себе прививку от чумы и применял к себе те же средства, которые прописывал им, успешно выполнили цель Наполеона. В письме графа д'Ора, опубликованном на сайте[198], рассказ об этом инциденте несколько отличается. В нем говорится: "Он не просто прикоснулся к бубонам: при содействии турецкого санитаря генерал Буонапарте поднял и унес больного чумой, который лежал поперек дверного проема одной из палат: мы были сильно напуганы его действиями, потому что одежда больного была покрыта пеной и отвратительными выделениями из лопнувшего бубона. Генерал продолжал свой визит, не теряя интереса, разговаривал с больными и старался словами утешения развеять панику, которую чума наводила на их дух". Бурриенн,[199] секретарь Наполеона, однако, говорит: "Я шел рядом с генералом и утверждаю, что не видел, чтобы он прикасался к кому-либо из зараженных".

Герцог де Ровиго в своих "*Мемуарах*" практически подтверждает слова графа д'Оре. Он говорит: "Чтобы убедить их самым очевидным доказательством того, что их опасения были беспочвенны, он попросил, чтобы перед ним раскрыли кровоточащую опухоль одного из его солдат, и надавил на нее своими руками". Десгенетт и генерал Андреосси, присутствовавшие при этом, подтверждают слова Ровиго и графа д'Оре против Буррьена.

Секретарь Наполеона развивает эту историю дальше. Он говорит, что только шестьдесят человек из госпиталя были больны чумой и что, поскольку их удаление было связано с риском заражения всей армии, Наполеон посоветовался со своими сотрудниками и медиками и решил избавить их от страданий с помощью яда. Буррьенн утверждает, что не знает, кто ввел яд, но вопрос об их уничтожении не стоял. Заявления Буррьена по любому вопросу, как это обычно признается, нуждаются в тщательном просеивании, но из массы противоречивых свидетельств вырисовывается очевидный факт: Наполеон действительно предложил ускорить смерть семи или восьми человек, которые должны были умереть, чтобы они не заразили всю армию. Сам Наполеон на острове Святой Елены не отрицал этого и защищал свои действия, ссылаясь на гуманность, а историю о массовом отравлении назвал выдумкой.

ПРИЛОЖЕНИЕ [200]

Утверждение Фукидида о том, что все другие болезни принимали сходство с доминирующим мором, постоянно встречается в литературе об эпидемических заболеваниях. Мы уже отмечали частое совпадение чумы и сыпного тифа, что заставило таких остроумных наблюдателей, как Дьемербрук и Сиденхем, поверить, что одна болезнь может трансформироваться в другую. Такая же тесная связь возвратного тифа и лихорадки отмечалась постоянно, и теперь мы знаем, что объяснение кроется в том, что каждое заболевание передается через тело вошью, как чума передается через блоху. Учитывая тесную и постоянную связь этих и других острых инфекционных лихорадок, нет ничего удивительного в том, что они рассматривались как состояния и стадии одного эпидемического процесса, отличающиеся друг от друга не по виду, а лишь по степени. Как говорит Бэкон, "гниение не сразу достигает своей высоты".

Острое, часто внезапное начало афинской чумы с глубокой депрессией, сильной головной болью и налитыми конъюнктивами, хотя и встречается во многих случаях чумы, в высшей степени характерно для сыпного тифа. Поразительный вид налитых кровью глазных яблок привел к тому, что эти два заболевания часто путают.

Вид языка и слизистых оболочек склоняется скорее на сторону сыпного тифа. При каждом заболевании язык вначале покрыт густым белым пухом, а затем становится сухим и пересохшим. Но при сыпном тифе наблюдается особая тенденция - по мере прогрессирования болезни язык кровоточит из трещин по краям. Это происходит настолько часто, что данный признак считается диагностически важным при вспышке тифа. Болотно-красный вид слизистых оболочек - обычное явление при сыпном тифе, которое наблюдается и у части больных чумой.

Неестественное и даже пенистое дыхание можно встретить при любой острой инфекционной лихорадке, но пенистость ни в коем случае не характерна ни для одной из них. Несомненно, он был гораздо более распространен в те времена, когда азбука гигиены полости рта еще не была принята как необходимая деталь медицинского режима. Мерчисон описывает дыхание больных тифом как пенистое, и, кроме того, хорошо известно, что от их тел может исходить отталкивающий запах. Салиус Диверсус упоминал об этом три века назад, и это было общим местом многих последующих авторов. Куршманн не смог обнаружить его и приписал его отсутствие свободной вентиляции больничных палат. Непрофессионал, каким был Фукидид, вполне мог бы приписать дыханию фетр, пронизывающий всю атмосферу вокруг пациента.

В народной традиции чихание издавна ассоциировалось с чумой, а старая легенда относит эту ассоциацию к чуме в Риме в начале понтификата Григория Великого, когда, по преданию, умерли те, кто чихал. Самые внимательные и наблюдательные из современных врачей, однако, не подтверждают эту связь. Рассел утверждает, что был начеку во время чумы в Алеппо и не заметил ее: Симпсон даже не упоминает об этом. Не похоже, чтобы это было примечательным симптомом тифа или любой другой острой инфекционной лихорадки, хотя это соответствовало бы опухшему и заложенному состоянию слизистой оболочки носа при тифе, на что Куршманн обратил особое внимание. Возможно, эта традиция - всего лишь

байка старых жен, ведь чихание считалось зловещим знаком с глубокой древности, по крайней мере, со времен создания "*Одиссеи*". Аристотель откровенно признавался, что не может объяснить эту связь.

Куршманн часто встречал охриплость и катар гортани при тифе, но хотя при чуме может наблюдаться катар всех дыхательных путей, он не является выдающимся признаком. Кашель часто встречается при любом заболевании, также как и рвота, часто очень сильная, и если она затягивается, то наблюдается чередка изменений цвета, как описал Фукидид: сначала пищевое содержимое желудка, затем зеленая желчная рвота и, наконец, кровь, либо красная, либо измененная до коричневой или черной. Икота и пустая рвота могут возникнуть при сильной рвоте, вызванной любой продолжительной причиной.

Неясно, к чему Фукидид относит термин *σπασμός*: из контекста можно предположить, что речь идет о спазме диафрагмы, который сопровождает затяжную рвоту. Но может означать и настоящие конвульсии, которые иногда являются осложнением обоих заболеваний. Судорожная дрожь конечностей, да и всего тела, привычна в разгар тифа и нередко при чуме.

Естественно, мы должны обратить внимание на внешний вид кожи и высыпаний, чтобы обеспечить критерии для точного диагноза, но это не так. Правда, есть удивительное сходство с описанием Мерчисоном кожи больных тифом в одной из английских больниц. Лицо, - говорит он, - часто покрасневшее. Покраснение общее по всему лицу. Оно никогда не бывает розовым: иногда оно красноватое или красновато-коричневое, но чаще имеет сумрачный, землистый или свинцовый оттенок: в тяжелых случаях оно может быть синюшным". При чуме не наблюдается соответствующих изменений на коже.

Фукидид описывает высыпания как состоящие из *φλύκταιναι μικρά καὶ ἔλκη*, которые обычно переводятся как "мелкие волдыри и язвы", и по этой причине считается, что они положительно исключают диагноз "сыпной тиф". Столь однозначное заключение вряд ли оправдано фактами. Вспышки гангренозного дерматита, при которых на поверхности тела появляются многочисленные буллы или волдыри, оставляющие изъязвленное основание, были нередкими признаками эпидемии сыпного тифа, и, судя по их вирусному заразному характеру, такие вспышки были бы более склонны к возникновению в условиях запустения и нищеты осажденного гарнизона. Мерчисон описал возникшие в результате этого явления следующими словами: "Я видел буллы, наполненные светлой или темной жидкостью, или большие пустулы, появляющиеся на различных частях тела во время лихорадки". Стоукс наблюдал, как после прорыва булл этого описания появлялись глубокие язвы с четкими краями". Но обширные язвы такого рода неизбежно должны были оставлять после себя неизгладимые рубцы, по крайней мере, столь же заметные, как "язвы", образующиеся при оспе, и мы вряд ли можем предположить, что это могло ускользнуть от критического греческого взгляда такого внимательного наблюдателя, как Фукидид. Возникает целый вопрос о точном значении слов *ἔλκος* и *φλύκταινα*.

В своем трактате *Περὶ Ἑλκῶν* Гиппократ использует термин *ἔλκος* не только для открытых ран и язв, но и для ожогов, рубцов и ран в целом.

Гомер использует его для обозначения ран любого вида. Так получилось, что раны в "*Илиаде*" - это почти все открытые раны, нанесенные копьем и стрелами, но Гомер также использует его для укуса змеи [201] и для раны, нанесенной молнией. [202]

Бион [203] использует его в последовательных строках для обозначения раны, нанесенной копьем, причем в общем смысле:

Ἄγριον, ἄγριον ἔλκος ἔχει κατὰ μηρὸν Ἀδωνίς, μείζον δ' ἂν Κυθήρεια φέρει ποτικάρδιον ἔλκος.

Эсхил [204] и Софокл [205] используют его также в более широком смысле, как, например, в

πόλει μὲν ἔλκος ἔν τὸ δῆμιον τυχεῖν

и

τί γὰρ γένοιτ' ἂν ἔλκος μείζον ἢ φίλος κακός;

Из этих отрывков можно сделать вывод, что ἔλκος, хотя обычно обозначает открытую рану, используется без точного значения.

Та же трудность связана со словом φλύκταινα. Хотя Гиппократ часто использует это слово, нет ни одного отрывка, в котором его точное значение было бы несомненно. Он применяет его к обморожениям, [206] - к высыпаниям на коже у больных эмпиемой, [207] - к поражениям, появляющимся на языке при смертельных септических случаях, и так далее. В одном отрывке, где он говорит о φλύκταινα, возникающей от натирания кожи уксусом, он, по-видимому, обозначает волдырь.

Первое четкое определение этого термина принадлежит перу Цельса, который определяет его как обесцвеченный гнойник, который лопается и оставляет язвенное основание ("genus pustularum, cum plures similes varis oriuntur nonnunquam maiores, lividae aut pallidae aut nigrae aut aliter naturali colore mutato: subestque iis humor, ubi hae ruptae sunt, infra quasi exulcerata caro apparet"). У Аристофана есть несколько отрывков, которые указывают на то, что он, во всяком случае, применял этот термин так же, как мы применяем его к поражению волдырями: но в то же время есть и другие отрывки, в которых это исключительное употребление отнюдь не так уверенно. Повреждение, полученное в результате гребли [208] или переноски копья [209], не может быть иным, чем мозоль. А в "Экклезиастах" [210] есть отрывок, который кажется еще более ясным:

ἀλλ' ἔμπουρά τις ἐξ αἵματος φλύκταιναν ἠμφιεσμένη,

'Какой-то вампир раздулся от крови, как волдырь'.

Видимо, речь идет о вампире, настолько раздувшемся от крови, что его тело кажется фактически окутанным ею, имитируя кровавой волдырь.

Аристотель применяет этот термин к укусу землеройки-мыши, который, предположительно, вызывает твердую локальную припухлость, а не волдырь. Прокопий использует φλύκταινα для обозначения черных кожных поражений при восточной чуме, известных сегодня как пустулы: он также говорит, что они были размером с чечевицу, но не упоминает о терминальной язве. Прокопий настолько точен в своей медицинской терминологии, что маловероятно, что он заимствовал этот термин у Фукидида, не осознавая его точного значения: гораздо более вероятно, что он перенял его из медицинской терминологии своего времени.

Есть основания считать, что термины, использованные Фукидидом, применимы к гнойничковым поражениям при восточной чуме. Многие авторы, как древние, так и современные, описывали так называемые пустулы как начинающиеся в некоторых случаях как волдыри и заканчивающиеся эрозийными язвами. Но, с другой стороны, мы не знаем ни одной эпидемии чумы без значительной доли бубонных случаев, а из рассказа Прокопия мы знаем, что чума сохраняла свой характер неизменным в течение 1500 лет. В эпидемии чумы,

когда смерть наступала только на седьмой или девятый день, наличие бубонов было бы выдающейся чертой болезни, а Фукидид даже не упоминает о них.

Если предположить, что и сыпной тиф сохранил свои черты неизменными и что внешние проявления афинской чумы были не исключительного типа, о котором мы говорили, а привычного для этой болезни, то можно ли утверждать, что термины *φλύκταινα* и *ἔλκη* применимы к ним?

Мэрчисон говорит, что "в зависимости от цвета высыпания можно сказать, что они проходят три стадии: 1 - бледно-грязно-розовая или цветочная; 2 - красновато-коричневая или ржавая; 3 - синюшная или петехиальная". На первой стадии, по общему признанию, кроме как при тщательном наблюдении и хорошем освещении, слабые диффузные макулы (пятна) могут остаться незамеченными, так что создается впечатление общей засоренности кожи - то, что Фукидид называет *ὑπέρουθρον*.

На второй стадии более глубокая окраска пятен делает их рельефными как отдельные поражения на более бледном фоне общего удушья кожи. Может быть, именно это обозначается расплывчатым термином *φλύκταινα*? Следует помнить, что Фукидид был неспециалистом и описывал, как он говорит, поражения доселе неизвестной болезни. Каждому врачу хорошо известна ограниченность терминологии, которой владеют обыватели для описания многообразных поражений. Сама медицина не избежала подобной путаницы, ведь когда врачи с легкостью говорят о подкожных кровоизлияниях при сыпном тифе как о петехиях, они забывают, что это слово восходит к *petigo* (струп).

Таким образом, для третьей стадии высыпаний - геморрагической - остается термин *ἔλκος*, общий термин, применимый почти к любому поражению и не имеющий филологического родства с латинским *ulcus* и английским "ulcer", с которыми его путает медицинский обиход.

Итак, рассмотрев все факты, нельзя утверждать, что описание высыпаний, данное Фукидидом, является достаточным для отрицательного диагноза сыпного тифа, который в остальном изображен в жизни во всем остальном, что он говорит о его клиническом течении и характере.

Фукидид был настолько впечатлен интенсивностью внутреннего жара, что ожидал, конечно, найти соответствующую температуру поверхности тела: поэтому очевидно его удивление, когда он обнаружил, что она не была чрезмерно горячей. При всем том страдальцы были готовы сбросить с себя любую одежду, вплоть до наготы, и жаждали броситься в холодную воду. Некоторые действительно погружались в цистерны, но никакого количества воды не хватало, чтобы утолить жажду. Прокопий упоминает о таком же неистовом стремлении броситься в воду среди жертв чумы в Византии, но подобный бред гораздо более характерен для тифа, чем для чумы. Куршманн изображает яростное смешение диких бредней, смешанных с неистовыми попытками самоуничтожения, которые придают безошибочный характер палате больных тифом. Мэрчисон, цитируя Бэнкрофта, говорит: "Некоторые, оставив свои кровати, били своих сиделок или медсестер и выгоняли их из палаты: другие, как безумные, бегали по улицам, рынкам, переулкам и другим местам: а некоторые снова прыгали головой вниз в глубокие воды". Невыносимое беспокойство и бессонница переполняют чашу страданий до краев". Куршманн подтверждает наблюдение Фукидида о том, что трупы больных тифом почти не истощаются, но это не помогает отличить тиф от других острых лихорадок столь же короткой продолжительности.

Смерть обычно наступала на седьмой или девятый день. Здесь налицо подчинение авторитетному учению о критических днях. Гиппократ [211] определял их на основе равных и неравных чисел:

Равные-4, 6, 8, 10, 14, 28, 30, 48, 60, 80, 100.

Неравные-5, 7, 9, 11, 17, 21, 27, 31.

Если взять среднее из этих чисел, то афинская чума в большинстве случаев уносила свои жертвы примерно на восьмой день болезни. Непрофессионал вряд ли имел бы возможность или даже желание сделать точный статистический расчет, и в этом факте, возможно, кроется неожиданный откат Фукидида в сторону медицинской ортодоксии.

Что касается дня смерти при сыпном тифе, Куршманн говорит: "Когда смерть вызвана просто тяжестью болезни, она наступает обычно в середине или во второй половине второй недели. Смертельный исход до девятого дня, или уже на пятый или шестой день, происходит только при самых тяжелых формах болезни или у людей с низкой сопротивляемостью". Афинский мор был не только тяжелым по типу, но и почти полным отсутствием ухода и медицинского режима, которые позволили продлить продолжительность случаев, оказавшихся в конечном итоге смертельными, во время недавних эпидемий. При чуме смерть обычно наступает между вторым и шестым днем, редко позже, и лишь немногие пациенты доживают до седьмого или девятого дня без появления бубонов.

Если жертвы пережили этот период, то болезнь закрепляется в кишечнике и вызывает сильное изъязвление (ἔλκωσις). Первоначальный запор, сменяющийся по мере развития болезни поносом, иногда обильным и неукротимым, встречается как при тифе, так и при чуме.

Болезнь начинается в голове и постепенно проходит через все тело. Если страдалец выживал долго, болезнь часто захватывала конечности, поражая интимные части тела, пальцы рук и ног. Некоторым удавалось спастись, потеряв их и лишившись глаз. Такая терминальная гангрена конечностей часто встречается при тифе, но редко при чуме и очень редко при других острых инфекционных лихорадках". Куршманн говорит: "Многие пациенты продолжают страдать в течение некоторого времени после выздоровления (от сыпного тифа) от гангрены ушей, пальцев рук, ног, кончика носа, кожи полового члена и мошонки, возникшей во время лихорадочного периода". Гангренозные изменения вокруг карбункула иногда встречаются при чуме, но не как самостоятельное поражение конечностей. Запущенные чумные бубоны, даже в наши дни во время индийских эпидемий, в исключительных случаях становятся гангренозными в результате сопутствующей эризипелазы. Некротические язвы глазных яблок хорошо известны как осложнение сыпного тифа, а также чумы.

Некоторые оправились от болезни, но с полной потерей памяти. Это опять же частое последствие, обычно временное, но иногда и постоянное, сыпного тифа. По словам Куршмана, "воспоминания пациента о своей болезни почти всегда очень ограничены в тяжелых или умеренно тяжелых случаях". Истинные психозы в период выздоровления встречаются редко. Иногда наблюдаются легкая меланхолия и галлюцинации, и даже мания".

Сочетание гангрены с психическими симптомами неизбежно наводит на мысль об эрготизме (отравлении грибом ржаного зерна), и Рид и Коберт потратили немало изобретательности в поддержку этой гипотезы. Один из афинских кукурузных путей действительно пролегал по северным берегам Эвксинского моря, а юг России был одним из главных центров эпидемий

спорыньи. Но нет никакой необходимости ссылаться на это состояние, чтобы объяснить симптомы, которые обычно встречаются при тифе, и нет также никаких оснований для этого, поскольку клинические особенности визита имели мало общего с эрготизмом. Хитроумные аргументы Коберта в пользу эрготизма, наложенные на какую-то другую неопознанную болезнь, просто заменяют один *тупик* другим.

Фукидид отмечает, что одна особенность отличала афинскую моровую язву от обычных болезней. Хищные птицы и звери, питающиеся человеческой плотью, как правило, не трогали трупы, а если трогали, то умирали. Хищные птицы вообще исчезали, и их не было видно ни возле тел, ни где-либо еще. В случае с собаками это было особенно заметно, ведь они живут с человеком. Этот абзац любопытен, но содержит три факта:

1. Стервятников нигде не было видно.
2. Собаки, как правило, избегали трупов, но если этого не происходило, они заражались.
3. 3. Что другие животные, которые питаются трупами, а в стенах Афин это вряд ли могли быть не только крысы и кошки, но и, возможно, свиньи, были поражены так же, как и собаки.

Нет никаких доказательств того, как болезнь отразилась на крупном рогатом скоте, лошадях, овцах и козах, поскольку все они были вывезены на Эвбею.

Феномен исчезновения хищных птиц до и во время вспышек эпидемического мора неоднократно подтверждался в литературе. Однако очень сомнительно, что это наблюдение опирается на какие-либо надежные доказательства. Поиски выявили только один случай, когда истинность этого факта была сознательно проверена, и тогда она была прямо опровергнута. Рассел утверждает, что в начале чумы в Алеппо, когда истинная чума была вызвана тифом, не наблюдалось ни дезертирства птиц, ни смертности среди скота. Старинное представление о том, что мор, зародившийся в облаках, ухудшает атмосферу, почти обязательно предполагало, что пернатые обитатели воздуха первыми ощутят на себе его дурное воздействие. Точно так же вера в то, что мор может проникать в атмосферу в выдохах из болот, привела к тому, что аналогичные басни стали распространяться и о лягушках, обитающих в болотах. Аристотель упоминает об увеличении числа лягушек в годы моровой язвы, а Бэкон и Хорстиус повторяют его утверждение. Эти дети болота воспринимаются как продукты его чрезмерной активности. Хорстиус зашел так далеко, что утверждает то же самое об улитках.

Ливий [212] однозначно утверждает исчезновение грифов из Рима до и во время эпидемии 174 года до н. э. "Cadavera, intacta a canibus et vulturibus, tabes absumebat: satisque constabat, nec illo, nec priore anno, in tanta strage boum hominumque vulturium usquam visum. [Мертвые тела гнили, не тронутые собаками и стервятниками: по общему мнению, ни в том, ни в предыдущем году стервятников не было видно, несмотря на столь высокую смертность людей и скота]. В данном случае дело было не в том, что они издавна учуяли смерть и держались в стороне, а в том, что они исчезли заранее. Если вспышке заболевания среди скота и людей предшествовала какая-то незамеченная эпизоотия, скажем, крысиная, то грифы вполне могли погибнуть в самом начале, питаясь зараженным материалом.

Другие авторы распространяют это наблюдение на птиц вообще, а не только на хищных, как будто их поражение было действительно эпизоотическим. Так, Шенкиус [213] утверждает, что во время чумы 1505 и 1522 годов птицы покидали свои гнезда и птенцов. Гоклениус говорит то же самое о чуме 1612 года, и что они внезапно падали на землю мертвыми. Меркуриалис говорит, что Венеция была покинута птицами в 1576 году, а Шорт повторяет это

о Данциге в 1709 году. Дъмерброк утверждает, что птицы в клетках умирали во время эпидемий 1635 и 1636 годов, а Сорбайт сообщает о том же факте во время венского мора 1679 года. Большинство, если не все эпидемии, несомненно, были настоящей восточной чумой, с тифом или без него.

В настоящее время существует очень мало доказательств обширного поражения низших животных сыпным тифом. Мослер, много лет назад, не смог передать его собакам, вводя им в вену свежую тифозную кровь или кормя их свежими тифозными экскрементами, хотя смерть с симптомами тифа последовала, когда кровь и стул сначала были допущены к разложению. За последние несколько лет экспериментаторам удалось передать болезнь различным обезьянам через вшей, но собаки, крысы и морские свинки до сих пор оказывались невосприимчивыми к инфекции.

С другой стороны, существует множество доказательств заражения животных восточной чумой. Эпизоотии среди крыс и кошек хорошо известны. Боккаччо утверждал, что свиньи восприимчивы к чуме, а Мишу подтвердил это наблюдение во время эпидемии 1893 года в Юньнани. Собаки, домашняя птица, олени, крупный рогатый скот, обезьяны, белки и сурки, как показали различные наблюдения, склонны к заражению.

Прежде чем принять свидетельство Фукидида об исчезновении птиц как весомое доказательство присутствия настоящей чумы, необходимо учесть состояние сельской местности вокруг Афин, опустошенной огнем и мечом и лишенной всего поголовья, чтобы не обещать пропитания посетителям-птицам. Но даже в этом случае все равно сталкиваешься с его заявлением о домашних собаках, которые, как известно, восприимчивы к чуме и не восприимчивы к тифу.

Фукидид говорит, что никто не подвергся нападению во второй раз, а если и подвергся, то результат не был смертельным. Подобный иммунитет, сравнительно полный, характерен как для тифа, так и для чумы: этот вопрос вызывает множество споров вплоть до наших дней. И Куршманн, и Мерчисон сходятся во мнении о крайней редкости рецидивов и повторных заражений при сыпном тифе: любопытно, что у самого Мерчисона было два типичных тяжелых приступа.

В случае с чумой Александр Массария, [214] на основании своего опыта в Виченце, пришел к выводу, что один приступ делает человека иммунным за очень редким исключением, но второй приступ может быть смертельным. Меркуриалис и Ван Гельмонт были согласны с тем, что вторые приступы случаются редко. Дъмербрук [215] зарегистрировал два случая повторного заражения в тот же год чумы в Нимвегене, а также несколько случаев с интервалом в несколько лет. Во время чумы в Марселе в 1720 году различные авторы наблюдали случаи повторного заражения, и рецидивы, как утверждается, также были частыми. Во время чумы 1771 года в Москве Самилович, предвзято относившийся к прививкам, отрицал существование реинфекции и понес возмездие за свой догматизм в виде трех рецидивов у себя самого. Во время той же чумы Мертенс и Орреус зарегистрировали случаи повторного заражения. При чуме в Алеппо Рассел отметил 28 случаев повторного заражения в течение трех лет среди 4 400 жертв чумы. Таким образом, идею полного иммунитета, столь распространенную в Европе и Леванте, следует принимать с некоторыми оговорками.

ОКСФОРД: ХОРАС ХАРТ М.А.
ПЕЧАТНИК УНИВЕРСИТЕТА

ССЫЛКИ:

- [1] *Метаморфозы*, vii. 520.
- [2] *Hist. Francorum*, x. 1.
- [3] *De Gestis Langobardorum*, iii. 24.
- [4] A. Bastian, *Ein Besuch in San Salvador*, p. 318; и Frazer, *Commentary on Pausanias*, ii. 10. 3.
- [5] *The Great African Island*, p. 268.
- [6] Гордон Камминг, *На Гебридах*, стр. 53 и далее.
- [7] Аристофан, *Плут*, 733.
- [8] Frazer, *Pausanias*, ii. 2. 8.
- [9] Гордон Камминг, *loc. cit.*
- [10] *Илиада*, i. 44 и далее.
- [11] Дерби, "Илиада" Гомера.
- [12] VII. xi. 2, tr. Bloomfield.
- [13] Синоним для Рудра.
- [14] Синоним для Рудры.
- [15] *Атхарваведа*, V. xi. 10.
- [16] xvii. 41.
- [17] *Hist. Anim.* vi. 37. 580 B.
- [18] *Geographica*, xiii. 1. 48, и iii. 104.
- [19] *Зоолог*, сентябрь 1892 г.
- [20] Страбон, *Geographica*, iii. 104.
- [21] 2 Царств xix. 35.
- [22] ii. 141; и Rawlinson's *Herodotus*, ed. 1880, vol. ii. 219-20.
- [23] *Geographica*, xiii. 64.
- [24] *Journal Asiatique*, 1-я серия, iii. 307.
- [25] i. 39.
- [26] *Revue Numismatique*, N.S. iii.
- [27] *Nat. Anim.* xii. 5.
- [28] *Geographica*, xiii. 1. 64.
- [29] Newton, *Travels and Discoveries in the Levant*, i. 130.
- [30] Thomas, *Two Years in Palestine*, p. 6.

[31] Frazer, *Golden Bough*, ed. 1900, ii. 423.

[32] *Илиада*, i. 39.

[33] Strabo, *loc. cit.*

[34] Aeschylus, *Theb.* 145.

[35] Pausanias, v. 14. 1.

[36] Strabo, *loc. cit.*

[37] Varro, *Rerum rusticarum* i. 1. 6.

[38] Aymonier, *Revue de l'histoire des religions*, xxiv (1891) 236.

[39] *Мораль: Эссе о зависти и ненависти.*

[40] 2 Царств xxiv; и 1 Хроник xxi.

[41] *Сочинения*, 243.

[42] Тр. Л. Кэмпбелл.

[43] *Жизнь Перикла.*

[44] Тр. У. Р. Фрейзер.

[45] xii. 58.

[46] *История Греции.*

[47] Фукидид Джоуэтта. Мы рискнули внести в перевод профессора Джоуэтта одно или два небольших изменения, выделив их курсивом. В медицине нет разницы, является ли болезнь *одинаковой* или *похожей*: ее *течение* также является чем-то совершенно отличным от ее характера.

[48] ii. 48 конец.

[49] Обсуждение клинических деталей было вынесено в Приложение, поскольку они представляют скорее медицинский, чем литературный или художественный интерес. Тем не менее, они необходимы для полной оценки достоинств описания моровой язвы, которое дает Фукидид.

[50] viii. 41. 7.

[51] ii. 54.

[52] i. 3. 3.

[53] Павсаний, ix. 22. 1.

[54] *Жизнь Нумы.*

[55] Фрейзер, *Золотая ветвь.*

[56] Павсаний, ix. 22. 1.

[57] *Оды*, I. 37.

- [58] I. vi. § 40.
- [59] Ливий, i. 31.
- [60] Livy, i. 56, и Dion. Halic. *Antiq. Rom.* iv. 68.
- [61] *Антик. Rom.* ix. 40.
- [62] Порфирий, *De Abstinencia*, ii. 56.
- [63] Второзаконие xii. 31; Левит xviii. 21; 2 Царств ii. 5-17.
- [64] I. v. 2.
- [65] IX. viii. 2.
- [66] *Vita Apollonii*, iv. 10.
- [67] iii. 6.
- [68] iii. 8.
- [69] iii. 5.
- [70] Агнес Арбер, *Травы*, 1912.
- [71] *Антик. Rom.* x. 53; и Livy, iv. 32.
- [72] Ливий, iv. 21-5.
- [73] Ливий, v. 13.
- [74] xiv. 70.
- [75] Ливий, vii. 2.
- [76] Левит, xiv. 7 и 53.
- [77] *Nat. Hist.* xxviii. 63.
- [78] Frazer, *Golden Bough*, и E. C. Gurdon, *County Folk-lore, Suffolk*, p. 14.
- [79] *Aberglaube und Sagen aus dem Herzogthum Oldenburg*, ii. 120, § 428.
- [80] Ливий, vii. 27.
- [81] Livy, viii. 18.
- [82] Livy, ix. 28.
- [83] x. 31.
- [84] Ливий, X. 47, и *Epit. Lib.* xi.
- [85] Valerius Maximus, i. 8.
- [86] См. Duruy, *History of Rome*, i. 555.
- [87] ii. 10. 3.
- [88] xxv. 26-8.

- [89] *Пуническая война*, v. 580-626.
- [90] Ливий, xxxix. 41; xl. 19; xl. 37.
- [91] xli. 21.
- [92] *De Re Rustica*, i. 12.
- [93] *Метаморфозы*, vii. 520 и далее.
- [94] Вк. I.
- [95] iii. 5.
- [96] x. 2.
- [97] *Энеида*, x. 272 и далее.
- [98] *Анналы*, xiv. 22.
- [99] *Quaestiones Naturales*, vi. 27. 28, и Сенека, *Физическая наука*, Кларк и Гейки.
- [100] *Annals*, Вк. XVI.
- [101] lxvii. 11.
- [102] lxxii. 14.
- [103] Иродиан, кн. I.
- [104] Евагрий, *Гист.* iv. 28.
- [105] xxiii. 7.
- [106] Merivale, *Hist. of Rome*, vii. 578.
- [107] vii. 15.
- [108] *Hist. of Rome*, v. 186.
- [109] *Commentar. I. in Hippocrat. Lib. VI, Epidem. Aph.* 29.
- [110] *De Praesag. ex pulsibus*, iii. 4.
- [111] *De Simplicium Medicamentorum Temperamentis et Facultatibus*, ix. 1.
- [112] *Method. Medendi*, v. 12.
- [113] *Hist. Eccles.* vii. 22.
- [114] Trebellius Pollio, *Gallienus*, tom. ii.
- [115] Помпоний Лаэтус, *Rom. Hist.* tom. ii.
- [116] Pontius, *Vita Caecilii Cypriani*.
- [117] *Compend. Historiarum, ex versione Xylandri*, p. 258.
- [118] *Gallienus*, iv и v.
- [119] *Hist. Eccles.* ix. 8.

- [120] *Œuvres de Oribase, Bussemaker et Daremberg*, lib. 44. c. 17.
- [121] *De Differ. Febr.* i, tom. vii, p. 2; 96, ed. Kuhn.
- [122] *De Bello Persico*, ii. 22-3.
- [123] *Hist.* iv. 28.
- [124] *Hist.* iv. 28.
- [125] *Hist.* v. 12.
- [126] *Hist. Francorum*, iv. 5.
- [127] vi. 14.
- [128] iv. 31.
- [129] *Hist. Francorum*, x. 1.
- [130] x. 23.
- [131] *De Gestis Langobardorum*, ii. 4.
- [132] *Hist. Eccles.* vii. 22.
- [133] xiv. 37.
- [134] *Hist. Francorum*, x. 1.
- [135] *De Gestis Langobardorum*, iii. 24.
- [136] *Hist.* vi.
- [137] Эта покаянная процессия прекрасно изображена Дадденом в его книге "Григорий Великий", т. i, стр. 217.
- [138] *Hist.* ii. 3 и iii. 1.
- [139] Bk. I, c. 25.
- [140] *Essai sur la mortalité à Strasbourg*, p. 79.
- [141] *De Gestis Langobardorum*, vi. 5.
- [142] Кэкстон, "Золотая легенда"; Джеймсон, "Священное и легендарное искусство".
- [143] См. фронтиспис.
- [144] Bascombe, *History of Epidemic Diseases*.
- [145] Kremer, *Ueber die grossen Seuchen des Orients, nach arabischen Quellen*.
- [146] Кэкстон, *Золотая легенда*; Джеймсон, *Священное и легендарное искусство*.
- [147] iv. 8.
- [148] *Золотые дни Возрождения в Риме*.
- [149] *Epistolae de rebus familiaribus*, viii. 7.

- [150] Bk. I, c. 4.
- [151] Traité II, Doct. ii, ch. 5.
- [152] *Эпидемии Средневековья*.
- [153] *Histoire des Juifs*.
- [154] Krafft-Ebing, *Geschichte der Pest in Wien*.
- [155] *Chronicon*, 1580.
- [156] Э. С. Приор, *Строители соборов*.
- [157] Prior and Gardner, *Mediaeval Figure Sculpture in England*, p. 390.
- [158] Ода 4.
- [159] Bk. I, Eleg. 3.
- [160] *Энеида*, vi. 644.
- [161] Passus xxiii. 100-5.
- [162] Rio, *L'Art chrétien*; и Crawford, *Proceedings of Roy. Soc. of Med.*, 1913, vol. vi, pp. 37-48.
- [163] Дафф Гордон, *История Перуджи* (перевод).
- [164] *Pestblätter des xv. Jahrhunderts*.
- [165] Vol. i, Bk. I, и Троллоп, *История Флорентийского содружества*, т. iv.
- [166] Gruyer, *Raphael et l'Antiquité*.
- [167] *Nat. Hist.*, lib. xxxv.
- [168] *Aenid*, iii. 140.
- [169] Lanciani, *Golden Days of the Renaissance*.
- [170] Bk. I, § 27 и далее.
- [171] Переведено мисс Эгертон Касл, *Итальянская литература*.
- [172] Léon Gautier, *La Médecine à Genève jusqu'à la fin du dix-huitième siècle*.
- [173] *Livre de la Peste*.
- [174] Горацио Браун, *Венецианская республика*.
- [175] Molmenti, *Venezia*.
- [176] Переведено в книге "Трагедия о великой миланской чуме" Р. Флетчера, доктора медицины, 1895 г.
- [177] Иисус Навин vi. 26.
- [178] Второзаконие xiii. 15-18.
- [179] Николя Пуссен, p. 134.

- [180] p. 84.
- [181] С гравюры, находящейся в распоряжении автора.
- [182] *Де Песте*.
- [183] *Де Песте*.
- [184] *Де Песте*.
- [185] *Доклады Королевскому обществу*.
- [186] *Исследования законов и явлений моровой язвы*.
- [187] *Loimologia, and Dict. of Nat. Biog.*
- [188] Rabbi Joshua, ii. 403.
- [189] Krafft-Ebing, *Geschichte der Pest in Wien*.
- [190] *Traité de la Peste*, 2 vols., Genève, 1721; *Johns Hopkins Hospital Bulletin*, August 1898.
- [191] *Janus*, 1897, p. 297; и *Johns Hopkins Hospital Bulletin*.
- [192] *La Peste de 1720*, p. 96.
- [193] *Очерк о человеке*, iv. 107-8.
- [194] vol. x, p. 91.
- [195] p. 214.
- [196] Richer, *L'Art et la médecine*.
- [197] *Histoire de Napoléon*, ed. 1834, vol. i, p. 354.
- [198] *Bourrienne et ses erreurs*.
- [199] *Mémoires sur Napoléon*.
- [200] Вклад Куршмана в "Энциклопедию практической медицины" Нотнагеля, возможно, является наиболее наглядным и кратким описанием сыпного тифа в современной медицинской литературе. Записи Фукидида следует внимательно изучить бок о бок с ним. Статья Мерчисона в его "*Трактате о продолжительной лихорадке*", хотя и заслуживает восхищения, настолько расплывчата, что сравнение затруднено.
- [201] *Илиада* ii. 723.
- [202] *Илиада* viii. 405 и 419.
- [203] *Адонис*, 16-17.
- [204] *Агамемнон*, 645.
- [205] *Антигона*, 652.
- [206] *О древней медицине*, § 16.
- [207] *Coacae Praenotiones*, § 396.

[208] *Лягушки*, 236.

[209] *Осы*, 1119.

[210] *Экклезиасы*, 1057.

[211] *Эпидемии*, iii.

[212] xli. 21.

[213] *Obs.* p. 870.

[214] *Tract. de Peste*, ed. 1669, p. 509.

[215] *De Peste*, Lib. IV. Hist. 37. 45.

Примечания транскриптора:

Изображение на обложке было создано транскриптором и является общественным достоянием.

Устаревшие написания или древние слова не исправлялись.

Иллюстрации были перемещены так, чтобы они не разбивали абзацы и находились рядом с текстом, который они иллюстрируют.

Типографские ошибки исправлены молча.